

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Мария Богачёва

ШУТОВСКОЙ ВЕНЕЦ

Мария Богачёва

Шутовской венец

<https://litres.ru/73960898>

SelfPub; 2026

Аннотация

Меня должны были повесить, а вместо этого сделали королевским шутом. Говорят, повезло. Только вот в замке одно за другим находят мёртвые тела — и всегда с медным бубенцом рядом. Все улики указывают на меня. Я знаю, что не убивал. Но кто-то в этом замке очень хочет, чтобы я занял место покойника. И кажется, я начинаю догадываться — кто именно.

Содержание

Глава 1. Шут его величества	4
Глава 2. Королевский двор	13
Глава 3. Комната наверху	22
Глава 4. Я иду тебя искать	35
Глава 5. Шерсть и железо	54
Глава 6. Проклятый шут	66
Глава 7. Принц и пыль	81
Глава 8. День рождения	90
Глава 9. Полнолуние	102

Мария Богачёва

Шутовской венец

Глава 1. Шут его величества

Аэлло

Мокрая солома противно чавкает под моими стоптанными башмаками. Запах дыма смешивается с чем-то сладковатым — не иначе, воняет моя рубаха, которую я не менял уже боже, сколько? Аэлло, ты опустился. Когда-то ты играл принцев на сцене, теперь — труп под топором.

Трое раскачиваются в такт ветру. Мерно, почти успокаивающе.

Стражник — здоровый детина с лицом, похожим на недопечённый пирог — пихает меня в спину древком копья. Я делаю шаг. Потом второй.

Восемнадцать лет. Восемнадцать лет, Аэлло. И ради чего? — Да тише вы, — говорю я, не оборачиваясь. Голос звучит устало, будто я сам не уверен, имею ли право просить. — Мы ведь никуда не денемся верно?

Детина молчит. Плохо. Молчание — это когда мозги включаются. Мне нужны те, у кого мозги выключены.

Старика Педро повесили первым — он даже не пискнул. Толстую Дору — второй; она плакала и звала какую-то Герту. Арлекина — третьим. Дурак в дурацком колпаке повис на верёвке, а колпак слетел и теперь валяется в луже.

Теперь ты. Ты не старик, не баба и не шут. Ты — никто. Именно поэтому выживешь. Если, конечно, язык не подведёт.

Пахнет дождём. Это хорошо. В дождь стражники мёрзнут и злятся. Мёрзлый злой человек хочет одного — скорее закончить и сесть у очага. Он будет спешить. А спешка — это ошибки.

— Господин капитан? — зову я, наклоняя голову, делая голос тоньше. Я и так молод, но можно быть совсем ребёнком. — Господин капитан, можно мне

Он оборачивается. Красное лицо. Красные глаза. Пил всю ночь.

Я опускаю взгляд.

— Я просто хочу попросить чтобы верёвку завязали плотнее, потому что у того, третьего она, кажется, скользкая была

И тут я кричу:

— О, господин, он так долго судорожно дрыгал ногами Зрелище было поистине ужасающим!

Он отшатывается.

— Ты — мычит он.

— Простите, — выдыхаю я. — Я просто я никогда раньше

не

И замолкаю посреди фразы. Люди ненавидят паузы.

— Не умираю, — заканчиваю совсем тихо.

Отлично, Аэлло. Ты напугал его — это раз. Вызвал жалость — это два. Показал себя идиотом — это три. Теперь для него ты щенок. Скулящий, мокрый щенок.

А теперь — вопрос. Тот, который ты задашь так, будто ответ тебе безразличен.

— Господин капитан, — я поднимаю глаза (в них — неприличная искренность), — а за что нас? Я просто хочу понять. Чтобы на том свете, если спросят, вы же не подумайте, что я жалуюсь. Это должно быть что-то серьезное, да? Чтобы сразу вешать?

Он смотрит на меня. Хмурится. Потом переводит взгляд на стражника.

— Труппа бродячих лицедеев, — бросает он через плечо. — Осмеяли его королевскую милость в своей пародии.

Я моргаю.

Что?

Осмеяли. Короля.

И тут до меня доходит. Вчерашняя сценка — та самая, под конец представления, когда мы уже хлебнули кислого вина и решили, что «а почему бы и нет». Про толстого лысого вельможу с короной набекрень. Который кривляется, выпивая из кубка, и требует, чтобы ему кланялись трижды. Зал тогда покатывался со смеху. Попали в десятку.

Капитан отвернулся.

Я смотрю на помост. На мокрое дерево. На пустую петлю. Она качается.

Знаете, в чём секрет? В том, что я действительно боюсь. Этот холод в животе, эта липкая дрожь в пальцах — всё настоящее. Но страх — плохой советчик. Страх заставляет людей цепляться за жизнь. А цепляющийся — тонет. Нужно не цепляться. Нужно танцевать на верёвке так, будто она — твой партнёр в вальсе.

Я делаю шаг на первую ступень.

Солома под ногами скользит — я специально ставлю ногу так, чтобы чуть не упасть. Издаю испуганный выдох. Слышу, как кто-то из зевак смеётся нервным смешком.

— Акробат хренов, — бормочет стражник.

— Господин капитан! — кричу я со второй ступени, делая голос звонким, почти счастливым. — А можно я сам? Надену? Очень интересно, как это ощущается.

Капитан оборачивается. На его лице — недоумение.

А на моём — самая идиотская улыбка.

Люди верят в то, во что хотят верить. А люди хотят верить, что смерть — это не страшно. Сегодня я покажу им, что это так.

Я делаю третий шаг. И тут — не понарошку, не для зрителей — нога едет по мокрому дереву. Я лечу вперёд, ударяюсь коленом о край ступени, падаю в солому. Боль такая, что темнеет в глазах. В лицо летят ошмётки грязи. Я слышу свой

собственный — не наигранный — хрип.

— А-а, черт — вырывается само собой.

Палач хватает меня за шиворот, ставит на ноги. Колено пульсирует, и я еле сдерживаюсь, чтобы не завывать.

Вот это, Аэлло, ты не планировал. Молодец. Теперь ты не утончённый акробат, а мокрый кусок мяса, который едва стоит.

— Ничего, — бормочу я, сплёвывая солому. — Главное — финал красивый.

Капитан криво усмехается.

Я поднимаюсь на помост. Дождь наконец начинается — мелкий, холодный.

Верёвка — это совсем не то, чем кажется. Я думал, она будет грубой, как канат на причале. Или мягкой, как мамина лента для волос (которую я, кстати, спёр, но это другая история).

Но она просто есть. Жёсткая, скользкая от дождя, и пахнет — вы не поверите — потом. Чужим потом. Сколькими шеями прошла эта верёвка?

Палач смотрит мне в глаза. Смотрит на узел, как ювелир на поделку.

— Не так туго, — шепчу я. — Мы же не враги.

Он затягивает сильнее.

Прекрасно. Ты хотел эффектной смерти? Получи. Сдохнешь не от разрыва шеи, а от удушья — долго, некрасиво, с высунутым языком и синим лицом.

Я смотрю на трибуну.

Король Зерван.

Боже, какой же он скучающий. Чешет нос — длинным, белым пальцем, будто ковыряет стену. Его величеству надоело. Ему надоело всё: утро, дождь, казни, жизнь. Его советник — сухопарая тень в сером — наклоняется к самому уху и шепчет. Что-то про налоги. Про бунты.

Внизу, в толпе, старуха. У неё корзина с пирожками, прикрытая грязной тряпицей. Она торгуется с тощим мужиком.

— Три медяка, не меньше, — сипит она, не глядя на эшафот. — Моя бабка ещё такие пекла. С луком.

Палач отходит на шаг. Руки в перчатках — чёрных, скользких от дождя. Он ждёт знака.

Я молчу. Это странно для меня — молчать. Язык — моё оружие, а сейчас он распух и прилип к нёбу.

Я делаю вдох — насколько позволяет верёвка. Пальцы палача сжимаются на моём плече.

— Ваше — хриплю я. И замолкаю.

Пауза.

Люди в толпе не слышат. Но король — он на трибуне, выше всех. И у него, может быть, слух лучше, чем у подданных. Или нет. Но пауза заставляет его повернуть голову. На доли секунды.

— Величество — шепчу я, почти беззвучно, шевеля губами. — У вас нос чешется к деньгам

Король поднимает бровь.

Палач перехватывает верёвку.

— Ваше Величество, — я наклоняю голову так, будто мне тяжело её держать, и начинаю тихо, почти интимно, как будто мы одни в опочивальне, а вокруг нет сотен мокрых зевак. — Позвольте один вопрос?

Король молчит. Но не запрещает.

— Только один.

Он хмыкает.

Я распрямляю спину. Голос становится звонким:

— Что общего между висельником и шутом?

Толпа затихает — даже старуха с пирожками перестаёт жевать. Палач замирает с верёвкой в руках. Стражники переглядываются.

Советник открывает рот, чтобы что-то сказать, но не успевает.

— Обоим скоро натянут бубенцы!

Король смеётся. Сначала дёргается плечо, потом вырывается хриплый, раскатистый звук. Стражники давятся хихиканьем. Палач криво ухмыляется.

— Снимите, — машет рукой король, всё ещё посмеиваясь. — Снимите с него верёвку. Заберём во дворец. Будет моим шутом.

Палач развязывает узел. Верёвка падает на солому.

Ты жив. Ты жив, Аэлло. Потому что смешной. Королю скучно. Скучающий король хуже голодного льва. Льва можно накормить, а скуку скуку лечат только шуты. Или висели-

цы. Сегодня он выбрал шута. Завтра — неизвестно. Но завтра будет завтра. Сейчас — ты жив.

Меня хватают под локти двое стражников. Осторожно, словно я теперь ценная вещь. Я позволяю себя вести.

Труппа моя труппа. Точнее — остатки. Двое актёров, помощник сцены и старый музыкант. Они стоят у помоста, мокрые, грязные, с глазами, полными ужаса и надежды.

— А они? — киваю я в их сторону и снова делаю голос тихим — но теперь не интимным, а будто бы случайным, небрежным. — Ваше Величество, они же просто аккомпанировали.

Король отмахивается — лениво, как от мухи.

— Живут, — цедит он.

Я кланяюсь. Низко, почти до земли, как кланяются перед алтарём.

— Ваше Величество, — шепчу я, поднимаясь, — я буду смешным. Даже когда буду плакать.

Дождь всё идёт. Толпа расступается. Старуха с пирожками суёт мне в руку один — тёплый, ещё с луком. Я успеваю шепнуть ей на ходу:

— Молитесь, бабушка.

Она крестится в третий раз — мелко, быстро, испуганно. А я шагаю к воротам замка.

Полдня, Аэлло. Полдня, чтобы стать королевским шутком. Или королевской игрушкой.

Ворота замка открываются. Запах дождя сменяется запа-

хом сырого камня, старого дерева и чего-то сладкого — не то мёд, не то ладан.

Решётка захлопывается за спиной.

Здравствуй, Аэлло, шут его величества.

Я сажусь на мокрые камни двора, трогаю ушибленное колено — оно опухло. Больно.

— Три медяка, говоришь, бабушка? Дёшево.

А жизнь моя теперь стоит ровно столько, сколько смеётся король.

Глава 2. Королевский двор

Меня привели в псарню. Пахнет здесь так, будто кто-то решил соединить ад и скотобойню в одном флаконе. Земляной пол хлюпает под ногами — не то от сырости, не то по другой причине, о которой я предпочитаю не думать. Солома но это не та солома, что была на эшафоте. Та хотя бы пахла дождём. Эта пахнет боже, собакой. И тем, что собаки оставляют после себя.

Добро пожаловать во дворец, Аэлло. Ты думал, тебя поселят в покоях с бархатными подушками? Будешь спать на перине и есть мёд? Нет. Ты — шут. А место шута — там же, где и у собак.

Вдоль стен — конуры. Деревянные, ободранные, с острыми краями. Из одной выглядывает морда — огромная, лобастая, с жёлтыми глазами.

Рык — низкий, горловой — разносится по помещению. Я инстинктивно прижимаюсь спиной к стене.

— Не дёргайся, — говорит голос. Хриплый, равнодушный.

Человек выходит из полумрака. Я вижу его не сразу — только когда он подходит к фонарю, подвешенному к потолочной балке. Одна рука. Левая — на месте, с толстыми, как сардельки, пальцами. Правая — обрубок чуть выше локтя, затянутый грязной тряпкой. На лице — шрамы.

— Новый шут, — бросает он стражникам, не глядя на меня. — Сдохнет через неделю.

Стражники переглядываются. Один пожимает плечами:

— Нам приказали доставить. Дальше — твой.

Они уходят. Дверь захлопывается. Щеколда лязгает.

Псарь щёлкает плетью — резко, без замаха. Звук режет воздух. Три пса, которые до этого рычали из конур, мгновенно замолкают. Один — огромный серый, с чёрной полосой на спине — поджимает хвост и отползает в угол. Другой — чёрный с белым пятном на лбу — смотрит на меня немигающим взглядом и скалится. Третий — рыжий — сидит смиренно, но ноздри его раздуваются.

— Сидеть, — говорит псарь. И они сидят. Почти все.

Чёрный не садится. Он стоит, глядя на меня, и рычит.

Псарь поворачивается к нему. Один взгляд — и чёрный нехотя опускает зад, но зубы не прячет.

— Хром, — бросает он. — Псарь. Запомнил?

Я киваю. Зачем — не знаю. Он всё равно не смотрит.

— Угол, — кивает куда-то в темноту. — Там солома. Бери и не отсвечивай.

Он бросает мне охапку. Я ловлю её — вернее, она бьёт меня по груди, и я успеваю схватить края.

— Спасибо, — говорю я.

Хром не отвечает. Он уже отвернулся к псам, что-то бормочет им — низко, гортанно, на языке, которого я не понимаю.

Я отхожу в угол — тот самый, в который он показал. Колено всё ещё болит, я припадаю на правую ногу и сажусь. Кладу охапку рядом — это теперь моя постель.

Псы они чувствуют меня. Я вижу, как шевелятся их носы. Рыжий — тот, который поджал хвост — медленно подходит. Я замираю.

Не беги. Не смотри в глаза. Не показывай страх. Собаки, Аэлло, как люди — они чувствуют, кто боится.

Рыжий обнюхивает мою руку. Нос — мокрый, холодный. Я чувствую его дыхание — влажное, с запахом сырого мяса.

— Ты ты хороший мальчик? — шепчу я, и голос мой дрожит.

Пёс смотрит на меня. Потом лижет пальцы. Один раз. Медленно. Шершавым языком, как наждаком.

Но чёрный — тот, что с белым пятном на лбу — вдруг вскакивает. Бросается к нам, скаля клыки. Я не успеваю дёрнуться — рыжий встаёт между нами. Оскал. Рык, которого я ещё не слышал, — низкий, опасный. Чёрный на мгновение замирает, потом отступает на шаг. Два шага. Садится, но не спускает с меня глаз.

— Интересно, — раздаётся голос Хрома.

Я поднимаю взгляд. Псать стоит, прислонившись к столбу, и смотрит на собак. Не на меня — на них. На рыжего, который всё ещё стоит передо мной защитной стеной.

— Либо ты ему понравился, — говорит Хром задумчиво. — Либо он пробует, как ты на вкус. Не расслабляйся. Через

неделю, если сдохнешь, он тебя сожрёт. Он — пёс. А ты — шут. Разница невелика.

Хром сплёвывает на пол и садится на скамью у стены. Достает откуда-то флягу, отпивает. Смотрит на меня — не прямо, краем глаза. На лице его — ни злобы, ни жалости.

— Сколько тебе? — спрашивает он вдруг.

— Восемнадцать, — отвечаю я.

— Молодой, — Хром сплёвывает на пол. — Молодые дохнут быстрее.

Молодые дохнут быстрее. А старые, значит, умирают медленнее? Какой утешительный прогноз, спасибо.

Я ложусь на солому. Колено ноет. Спина ноет. Шея — там, где была верёвка — чешется, но чесать нельзя, потому что под ногтями грязь, а ранка может загноиться.

Рыжий вздыхает у ног. Чёрный, кажется, уснул — но я не верю. Он только притворяется.

Мне почему-то становится не спокойнее, а тревожнее.

«Собаки, — думаю я. — Даже собаки лучше людей? Не скажи. Одна — друг, другая — враг. Как везде».

Я закрываю глаза.

В темноте перед веками пляшут пятна — оранжевые, красные. От фонаря. Или от того, что я всё-таки устал больше, чем казалось.

Ну что ж, Аэлло. Ты пережил голод, побои, виселицу и псарню. Не вздумай сдохнуть через неделю.

Я почти засыпаю — и тут же вздрагиваю от шагов.

Шарканье. Медленное, неровное, с протяжным скрипом — будто кто-то тащит за собой мешок с костями. Я открываю глаза. В темноте псарни кто-то есть.

— Живой? — голос старческий.

Из мрака выступает фигура. Горб — такой огромный, что кажется, человек несёт на спине целый дом. Опирается на палку — кривую, обмотанную тряпками. Колпак на голове — когда-то он был жёлтым и синим, а теперь превратился в грязно-серое нечто, съехавшее набок.

А вот и коллега. Шут. Настоящий. Смотри, Аэлло. Запоминай. Возможно, ты видишь своё будущее.

— Живой, — отвечаю я, будто не уверен сам.

Старик подходит ближе. Останавливается в двух шагах, тяжело дышит — хрипло, с присвистом. Смотрит на меня долго, пристально, словно пытается разглядеть что-то.

— Молодой, — выдыхает он. — Молодых жалко.

— Вас, почтенный, тоже кто-то жалел? — спрашиваю я с лёгкой усмешкой.

Он качает головой.

— Моё имя Криспин. Меня никто не жалел. Я сам себя жалею. Этого хватает.

Я сажусь на соломе — колено простреливает болью, но я не подаю виду.

— Ты откуда? — спрашивает старик.

— Актёр, — говорю я. И расправляю плечи. — Бродячая трупша.

— Здесь не сцена, — перебивает резко Криспин. — Здесь королевский двор. Это не театр. Здесь зрители не платят, а если не смеются — бьют. Тебя будут бить.

— Меня уже вешали, — усмехаюсь я.

— Вешать — не больно, — старик кашляет глухо, надрывно. — А вот плети плети ты ещё не пробовал.

Он отворачивается и хромает в дальний угол псарни — туда, куда почти не падает свет от фонаря. Я слежу за ним. В этом углу на стене — ржавый гвоздь. А на гвозде — колпак.

Старый, выцветший, когда-то, наверное, красный. Бубенцы — маленькие, медные — пришиты к краям.

Псы — все трое — вдруг поджимают хвосты и отходят к противоположной стене. Даже рыжий, который лизал мои пальцы, отступает. Прижимается к земле. Собаки боятся колпака?

— Это Колпак Фесса, — раздаётся из темноты голос Хрома.

— Фесс? — переспрашиваю я.

— До тебя был, — отвечает псареь. — Продержался два года. А потом — он не договаривает.

Криспин подходит к колпаку. Останавливается перед ним. Осторожно касается пальцем одного бубенца — тот не издаёт ни звука.

— Фесс залил их воском, — говорит Криспин тихо. — Чтобы не звенели.

— И что с ним стало? — спрашиваю я.

— Его скормили собакам, — выкрикивает псарь. — Тем самым, которые теперь лижут тебе руки.

Я смотрю на рыжего. Пёс отводит глаза.

Криспин садится на корточки рядом со мной. Он протягивает мне руку. В ладони — краюха хлеба. Чёрствого. Серого. С зелёным налётом на уголке.

— Учись шутить, — говорит он.

Я беру хлеб.

— Спасибо, — говорю я. Потом, чуть задержавшись, добавляю с лёгким повышением: — Криспин, верно?

Он кивает. Поднимается — медленно, опираясь на палку, и хромотает прочь, к двери. Псы провожают его взглядами, но не рычат.

— Ты не первый, — бросает он на прощание, не оборачиваясь. — И не последний.

Дверь открывается, скрипит и закрывается. Щеколда снова лязгает. Я остаюсь в темноте с хлебом в руке.

Я откусываю хлеб. Он чёрствый и жёсткий. Пахнет плесенью.

Я отламываю половину и протягиваю рыжему псу.

— На, — шепчу я. — Тебе тоже нужно есть. Ты же меня не съешь правда?

Пёс смотрит на хлеб. Потом — на меня. Медленно, осторожно берёт краюху мягкими губами. Жуёт. Не проглатывая — пробуя.

— Вот и славно, — говорю я. — Мы теперь компаньоны.

Ты не ешь меня, я не ем тебя.

Пёс не отвечает. Он доедает и ложится у моих ног.

— А теперь, — шепчу я уже совсем тихо, чтобы Хром не услышал, — маленькое дело. Надо понять, можно ли отсюда выбраться.

Осматриваюсь. Дверь одна, дубовая, мощная, щеколда снаружи — я видел, как меня втолкнули. Окон нет. Под самым потолком — узкое окошко с решёткой. Даже тощий артист туда не пролезет.

Хром засыпает быстро — я слышу, как его дыхание становится ровным и тяжёлым. Фляга валяется на полу, из неё ещё капает. Чёрный пес поднимает голову, скалится, но не рычит. Серый — вообще не двигается, может,дохлый.

Я поднимаюсь. Колено ноет, но я терплю.

Рыжий встаёт. Я прикладываю палец к губам. Пёс наклоняет голову, но не лает.

Дверь.

Щеколда снаружи — но не заперта на ключ. Я видел, как стражник просто задвинул железный прут. Я просовываю пальцы и достаю до прута. Тяну на себя. Прут скрипит — но я замираю. Хром не просыпается.

Ещё рывок. Щеколда отодвинута.

Я выхожу в коридор.

Темно. Каменные стены. Сыро. Где-то капает вода. Я не знаю, куда идти. Но я знаю одно: быть шутком его величества — не значит быть его игрушкой.

Я делаю шаг. Второй.

Коридор тянется в обе стороны. Налево — пахнет жареным. Направо — холодом и камнем.

Я выбираю запах еды. Потому что если сбегать — то на сытый желудок.

Глава 3. Комната наверху

Ты сбежал. Через четыре часа после того, как тебя помиловали. Гениально, Аэлло. Теперь тебя не повесят — тебя четвертуют.

Запах становится сильнее с каждым шагом. Где-то рядом кухня. Я чувствую лук, перец и что-то мясное.

За поворотом — свет и фигура. Старуха, сгорбленная под тяжестью огромного глиняного горшка. Она несёт его, прижав к животу, и кричит. Горшок дымится — похоже, помои.

Я прижимаюсь к стене. Она проходит мимо, не глядя по сторонам. Бормочет что-то под нос. Горшок пахнет кислой капустой, протухшей кашей — или чем-то, чему полагалось быть съедобным, но не сложилось.

Она скрывается за поворотом. Я выдыхаю.

Дальше коридор расширяется. Слева — арка, ведущая в какой-то зал. Оттуда слышны голоса. Я замираю, вслушиваясь:

— ...Шестёрка, я сказал! Где шестёрка?— А вот тебе шестёрка. На. И подавись.— Ты жульничаешь, Гюнтер!

Я выглядываю из-за угла.

Двое стражников. Сидят на полу, прислонившись к стене. Между ними — огарок свечи и игральные кости. Самодельные, из обточенных бараньих позвонков.

Один — толстый, с красными щеками, в нагруднике, ко-

торый ему мал. Второй — тощий, с длинным носом и прищуренными глазами. Перед ними — кувшин, пустой наполовину.

— А ты ноешь, Михель. В прошлый раз ты тоже ныл перед прыжком с крыши.— То был не прыжок, а падение! И я не ныл, я молился!

Гюнтер пыхтит, кидает кости. Те падают «две двойки». Он вздыхает.

— Я не жульничаю, — говорит Гюнтер, подбирая кости. — Я везучий. Это разные вещи.— Везучий? — Михель хмыкает и отхлёбывает из кувшина. — Ты вчера проиграл три серебряных. А позавчера — свой шлем. Такой везучий, что без шлема остался.— Шлем маловат был. Он мне жал. — Гюнтер трогает длинный нос. — А ты просто завидуешь.— Чему?!— Моей харизме.

Михель заливается хохотом:

— Харизма — это когда тебя бабы любят. А тебя даже коза на посту обнюхала и ушла.

Михель замирает. На секунду мне кажется — сейчас будет драка. Но потом он снова ржёт, хлопает тощего по плечу, и кости летят на пол.

— Ладно, кидай давай.

Я проскальзываю мимо. Они даже голов не поднимают.

За аркой начинается спуск — ступени, стёртые тысячами ног. Внизу — ещё светлее. Пахнет уже не просто едой, а едой в её лучшем проявлении: жареным мясом, свежим хлебом,

чем-то сладким.

Кухня.

Огромная. Сводчатый потолок, чёрный от копоти. Три печи, две из которых ещё пылают. Длинные столы, заваленные овощами, травами, тушами. На крюках под потолком висят окорока и связки колбас — как трофеи на охоте.

И посреди всего этого стоит повар. Красное лицо — не от стыда, а от жара, от вина, от жизни, которая состоит из жира и соли. Огромный, как колокол, с руками-корягами, в засаленном фартуке, который когда-то был белым. Он режет мясо.

Нож — размером с мою руку. Или с мою ногу. Легко входит в тушу — то ли говяжью, то ли свиную, я не разбираюсь. Кусок за куском падают на доску.

Повар работает молча. Никто не разговаривает с ним — я замечаю двух поварят, которые моют горшки в углу, и девицу, перебирающую лук. Они даже не смотрят на повара.

— Завтра банкет, — бормочет повар сам себе. — Десять блюд. Десять. Старуха Герта опять принесла лук с гнильцой, а этот скот... — он тычет ножом в тушу, — ...недостаточно жирный. Кто забивал?

А потом я замечаю его.

В углу, на мешке с мукой, спит мальчишка. Лет десяти, не больше. Щуплый — весь в мучной пыли, одежда болтается, как на вешалке. Под головой — поварёшка. Огромная, медная, блестит в свете печи. Он обнимает её, как куклу.

Я смотрю на него. И мне почему-то становится не по себе.

Не от того, что он маленький. Не от того, что спит в муке. А от того, что я вижу себя. Десять лет назад. Такой же тощий, такой же грязный, такой же спящий на чём попало, потому что кровать — это роскошь, а подушка — это мечта.

Я делаю шаг назад. Надо уходить. Псарня — да, дерьмо, но там хоть понятно, кто враг. А здесь... здесь враг — повар с ножом, который режет мясо и не замечает ничего вокруг.

И тут повар оборачивается.

Не на меня — слава богам, я стою в тени. А на мальчишку. Того самого, что спит на мешке с мукой.

— Эй, ты, мешок с дерьмом!

Поварята замирают у горшков. Девушка с луком вжимает голову в плечи.

Повар делает шаг к мальчишке. Один шаг — и пол под ним, кажется, стонет. Второй — и огромная нога в заскорузлом сапоге бьёт мальчишку в бок.

— Вставать, — цедит повар. — Работай. Мясо ждёт.

Мальчишка вскрикивает и подскакивает. Поварёшка с грохотом падает на каменный пол. Глаза у ребёнка — спросонья, мутные, полные ужаса.

— Я... я сейчас, господин Турс... — лепечет он, хватаясь за мешок с мукой, чтобы не упасть.

— Господин Турс, — передразнивает толстяк. — Руки тебе оторву, если через минуту не будешь чистить картошку.

Он замахивается — плетью? Нет, просто рукой. Широкой,

красной, перепачканной кровью — той самой, с туши.

«Стой. Стой, идиот. Не лезь. Это не твоё дело. Ты — никто. Ты — шут. Стоять!»

Но я уже сделал шаг.

Из тени — на свет.

— Добрейший... — голос мой звучит мягко, — господин Турс, верно? Прошу прощения, что отвлекаю...

Повар медленно поворачивается.

Теперь он видит меня. Грязного, тощего, в рваной рубаше, с верёвочным следом на шее. Его глаза — маленькие, как два гороха в сале — сужаются.

— Ты кто? — рывкает он.

— Я? — я прижимаю руку к груди — жест актёра, жест человека, который представляет себя публике. — Скромный слуга его величества, новый... э-э... придворный шут. Аэлло. К вашим услугам.

— Шут, — повар сплёвывает на пол. — Новый шут. А я старый повар. И что тебе надо?

— Ничего, — я улыбаюсь самой безобидной улыбкой. — Просто... мальчик, мне показалось, он спит. Не стоит его... ну... будить так грубо. Мы ведь все люди... правда?

Повар смотрит на меня. Потом на мальчишку. Потом снова на меня.

И смеётся.

Не так, как смеялся король — хрипло, но весело. Нет. Он смеётся так, как смеются над щенком, который тявкнул на

волка.

— Люди? — переспрашивает он, вытирая нож о фартук.
— Это — не люди. Это — повара. Мясо для соуса. — Он кивает на мальчишку. — А ты... ты — шут. Ты даже не мясо. Ты — бубенчик на верёвке.

Он делает шаг ко мне. Пахнет от него потом, чесноком и кровью.

— Слушай сюда, колпак, — его голос становится тише, интимнее — пародия на мою интонацию. — Я здесь главный. И если ты ещё раз сунешься на мою кухню... — он поднимает нож, проводит пальцем по лезвию, — ...я нарежу из тебя колбасу. И скормлю собакам. Тебе же там спать... с ними? Вот и познакомишься поближе.

Я молчу. Внутри — ледяной шар. Потому что он прав. И потому что я боюсь — не ножа, нет. А того, что сейчас скажу.

Но я ничего не говорю.

Я просто улыбаюсь. Дебильной, пустой улыбкой.

— Простите, господин повар, — шепчу я. — Я просто... любопытство. Профессиональное. Всё, ухожу.

И я отступаю. Спиной к выходу. Не поворачиваясь. Потому что повернуться спиной к такому — значит получить нож в затылок.

Повар хмыкает и возвращается к туше.

— Работай, — бросает он мальчишке. — И чтоб через минуту картошка была чистой.

Мальчишка, дрожа, хватается поварёшку.

Я уже у двери. Почти в коридоре.

— Эй... — слышу я за спиной. Тоненько, неуверенно. Оборачиваюсь.

Мальчишка смотрит на меня из-за мешка картошки.

— Ты... ты правда шут? — шепчет он.

Я киваю.

— А меня... меня никто не зовёт. Все говорят «эй». А мама звала... — он оглядывается на повара — тот занят мясом, не слышит. — Тимми.

Я задерживаюсь на пороге. Полсекунды. Одну.

— Тимми, значит, — говорю я так тихо, что даже повар не услышит. — А меня — Аэлло.

Тимми кивает. Прижимает поварёшку к груди.

— Аэлло... — пробует он на вкус моё имя. — А вы... вы придёте ещё?

— Приду, — вру я. Или не вру? — Если не убьют.

Я выскальзываю в коридор.

Колено ноет. Пахнет от меня псарней и страхом — если, конечно, страх имеет запах. Наверное, имеет. Как пот. Или как та кислая капуста из горшка служанки.

«Ты спас мальчишку? Нет. Ты заставил повара не ударить его один раз. Всего один раз. Завтра Турс его убьёт. Или послезавтра. Твоё вмешательство ничего не изменило. Только навлекло внимание на тебя. Гениально, Аэлло. Ты — шут, а лезешь в герои».

Я иду дальше по коридору. Винтовая лестница появляет-

ся внезапно. Просто из стены — узкий проём. Ступени каменные, стёртые до блеска — по ним ходили сотни лет. Я поднимаюсь. На стенах замечаю каракули.

Углём. Детским почерком. Кто-то рисовал цветы — кривые, с пятью лепестками, похожие на звёзды. Кто-то написал. «Я здесь был». Имя стёрлось, но буквы — детские, круглые — сохранились.

— «Я здесь был», — шепчу я, касаясь пальцем шершавого камня.

«Ты становишься сентиментальным, Аэлло. Это опасно. Сентиментальные шуты долго не живут».

На третьем пролёте — новый рисунок. Дом. С трубой и дымом. И человечек у крыльца — палка, палка, огуречик. Подпись старательно выведена: «папа».

Я отворачиваюсь.

Наверху — дверь. Дубовая, с железной ручкой в виде львиной головы. Лев улыбается — если у льва вообще может быть улыбка. У этого — точно. Кривая, наглая, как моя.

Я толкаю дверь.

Она открывается со всхлипом.

Комната круглая. Стены — сплошной камень, кое-где завешано гобеленами с выцветшими цветами. Мебели почти нет — только старый сундук в углу и...

Зеркало.

Огромное, в полстены, в резной деревянной раме. Но разбитое. Трещины — как паутина — расходятся от центра. Я

вижу себя в осколках. Не целиком. По частям: глаз, лоб, ве-
рёвочный след, грязное ухо.

А потом я поднимаю взгляд.

У окна стоит она.

Девушка в белом платье. Длинные тёмные волосы падают
на плечи, на спину — как водопад, который остановили. Она
смотрит на звёзды.

Я замираю.

Принцесса. Луана.

Но она... она не оборачивается. Не смотрит на меня. Даже
голова не поворачивает.

— Ваше высочество? — шепчу я.

Никакого ответа.

Она не слышит. Или делает вид, что не слышит.

Я делаю шаг вперёд. Потому что это глупо — стоять в те-
ни, когда перед тобой принцесса. Надо кланяться. Надо шу-
тить. Надо быть смешным.

— Ваше высочество, позвольте представиться...

И тут я чувствую руку на своём плече.

Пальцы — жёсткие, сухие, как корни старого дерева. Дёр-
гают меня назад.

— Уходи, — шепчет голос за спиной. Хриплый, с присви-
стом.

Криспин.

Горбатый, запыхавшийся — я слышу, как он ловит воз-
дух, как хрипят его лёгкие. Он не смотрит на принцессу. Он

смотрит на меня. Глаза у него — белые, выцветшие, как его колпак.

— Уходи, я сказал, — повторяет он.

— Но... — я поворачиваюсь к окну. — Она...

Он тянет меня за рукав — с такой силой, что я чуть не падаю. И я подчиняюсь.

Мы спускаемся на площадку ниже. Криспин останавливается, опирается на свою кривую палку. Дышит — тяжело, с присвистом.

— Ты зачем туда полез? — выдыхает он.

— Я заблудился, — говорю я. И тут же добавляю с лёгким повышением: — А что... с ней что-то не так?

Криспин поднимает на меня глаза. Смотрит долго — будто решает, стоит ли говорить.

— С ней всё не так, — говорит он наконец. — Садись. Нога у тебя больная.

Я сажусь на холодную ступень. Криспин плюхается рядом, кряхтя.

— Мать её, — говорит он тихо. — Королева Элиана. Была ведьмой.

Я моргаю.

— Ведьмой? — я сглатываю.

— Не перебивай, — старик поднимает палец. — Король Зерван... он тогда был молодой. Влюбился в неё, как дурак. Привёз в замок. А она... она была другой. Потом она родила Луану. — Криспин кашляет, отворачивается в сторону. —

И через четыре года королю сказали, что королева пыталась отравить его. Или околдовать. Или продать душу дьяволу. Не знаю. Важно только то, что её сожгли.

— А принцесса?

— Принцессе Луане было четыре года. Она видела, как мать уводят. И как... — он запинается. — В общем, после этого с ней что-то случилось. Королева до сих пор здесь. Её сожгли, но она не ушла. Она вернулась. В дочь.

Я хочу сказать что-то умное, но язык не слушается.

— Ты видел разбитое зеркало? — спрашивает Криспин.

— Да...

— Оно разбилось само. В ночь казни. Без молотка, без камня. Треснуло от крика.

Я невольно смотрю вверх. На площадку.

— Принцесса... она не просто сумасшедшая, — Криспин хватается меня за запястье — пальцы его сухие, горячие, как угли. — Иногда она говорит не своим голосом. Иногда она знает то, чего знать не могла. А по ночам из её комнаты слышен не один голос.

«Боги. А ты хотел рассказать ей шутку».

— Король... — я проглатываю ком. — Он её...

— Не убил, — Криспин качает головой. — Побоялся. Или не смог. Говорят, в ней всё-таки его кровь. Он просто запер её в башне. Чтобы не срамила двор. Чтобы никто не видел, как принцесса разговаривает с пауками в углу.

Я сижу на холодной ступени и смотрю на свои грязные

ботинки.

— И никто... никто не может ей помочь?

— Помочь? — Криспин горько усмехается. — Кому? Ей? Или королю, который хочет забыть, что взял в жёны ведьму? Или придворным, которые боятся, что проклятие заразно? Нет, мальчик. Здесь никто никому не помогает.

Он поднимается — медленно, опираясь на палку.

— Запомни, — говорит он, глядя сверху вниз. — Та комната наверху — не для тебя. Не ходи туда больше. Если стража увидит... или сам король узнает... тебя не просто выпорют. Тебя казнят. Теперь иди. Псарня по тебе скучает. И Хром... Хром не любит, когда его собаки волнуются.

Он уходит вниз — шаркая, сторбленный, бормоча что-то себе под нос.

Я остаюсь сидеть.

Я поднимаю глаза наверх. Туда, где дверь с львиной ручкой.

— Она смотрела на звёзды, — шепчу я. — Звёзды... они что, лучше людей? Наверное.

«Не смей жалеть её, Аэлло. Ты — шут. Твоё дело — смешишь, а не лечишь проклятых принцесс. Если ты влезешь в это — пропадёшь. Как Фесс. Как все, кто пытался быть добрым в этом замке».

Я поднимаюсь и бреду вниз.

Ступени скрипят. На стенах — детские каракули. «Папа».

«У неё нет папы, — думаю я. — У неё есть король, кото-

рый запер её в башне. Это разные вещи. Да, Аэлло? Разные. Правда?»

Я не уверен.

Псарня встречает меня тем же запахом. Хром спит, привалившись к стене. Рыжий поднимает голову, когда я вхожу, и виляет хвостом.

— Привет, — шепчу я, падая на солому. — А у нас тут... новая знакомая.

Рыжий лижет мою руку.

— Ты не понимаешь, — вздыхаю я. — Ты — пёс. Тебе всё равно.

Я ложусь на спину. Смотрю в потолок — чёрный, с паутиной, с тенями от фонаря.

«Луана», — шепчу я.

Закрываю глаза.

Завтра я впервые выйду к королю.

А про принцессу я забуду. Обязательно забуду.

Глава 4. Я иду тебя искать

Я снова здесь.

Круглая комната. Те же выцветшие гобелены, тот же сундук в углу. Зеркало — разбитое, трещины расплзлись ещё шире, будто кто-то ударил по нему снова. Луна в окне — полная, как золотая монета, — висит низко над горизонтом.

А у окна — она.

В белом платье. Тёмные волосы. Стоит ко мне спиной, смотрит на звёзды.

— Ваше высочество? — хочу сказать я.

Ни звука.

Пробую шагнуть — и не могу. Ноги приросли к каменному полу. Руки висят плетями. Даже шею не повернуть — только глаза работают. Смотрю на неё, а она не оборачивается.

— Ты вернулся, — говорит она. — Как тогда, в первый раз.

Я молчу. Потому что нечем говорить.

— Я знала, что ты вернёшься, — продолжает она. — Все возвращаются. Только одни — на своих ногах, а другие другие уже не ходят.

Сон, Аэлло. Это просто сон. Проснись. Дёрни ногой, и всё пройдёт.

Но я не просыпаюсь.

Принцесса медленно поворачивается. Это движение слишком медленно, слишком неправильно для живого существа.

Сначала — профиль. Тонкий нос, бледная щека, прядь волос, упавшая на плечо. Я замечаю, что волосы шевелятся сами по себе, будто их что-то трогает изнутри. Потом — лицо. Полностью.

Я хочу закричать, разодрать горло криком — но не могу. Я вижу лицо моей матери.

Та же родинка над губой. Те же глаза — серые, усталые, с морщинками в уголках. Но взгляд — не её. Здесь — пустота. Как будто кто-то выскреб радужку ложкой и оставил две серые дыры. Те же волосы — только у мамы они были светлее, выгорели на дорогах, пока мы кочевали с труппой. Но здесь, в свете луны, они кажутся чёрными. И липкими. Они двигаются, когда голова неподвижна.

— Узнал? — спрашивает она. Голосом матери. Тёплым, чуть хрипловатым — она всегда курила какую-то дрянь в трубке.

А потом она улыбается.

Улыбка — не мамина. Слишком широкая. Слишком белая. Я слышу, как трескается кожа на уголках губ — они разъезжаются дальше, чем могут. И зубы — острые, как у собаки. И не все одинаковые. Некоторые сломаны, некоторые — человеческие, но стоят не на своих местах. Из дёсен сочится что-то тёмное.

— Ты тоже меня боишься? — говорит она. И голос меняется. Становится старым: — Боишься, Аэлло?

Я молчу. Потому что рот будто зашит. Я дышу через нос — быстро, мелко, как загнанный зверёк. И слышу собственное сердце. Оно бьётся слишком громко. Слишком быстро.

— Правильно, — кивает она. Голова откидывается назад слишком легко — будто позвонков нет. — Бойся. Бояться — полезно. Ты — она наклоняет голову, и волосы падают на лицо, скрывая глаза. Но сквозь них я вижу — глаз нет. Там чернота. И в черноте — что-то шевелится. — ты уже мёртвый.

Она делает шаг ко мне. Белое платье шуршит по полу. Но это не шёлк. Это сухая кожа.

— Беги, — шепчет она. — Беги, Аэлло. Если я тебя догоню — ты умрёшь.

Второй шаг.

— Я не хочу тебя убивать, — её голос — снова мамин, ласковый, тот самый, которым она пела мне колыбельные в ободранной повозке. От этого голоса у меня начинают течь слёзы. Потому что я помню. Я помню её руки. Её запах. Её — Но если догоню — убью.

Она останавливается.

Закрывает глаза. Те самые дыры, которые были глазами, закрываются веками. Веки серые, как старая простыня.

И начинает считать.

Голос детский. Тоненький. Тот, которым я сам когда-то

считал в игре. Но в этом голосе — восторг. Голод. Предвкушение.

— Раз — воздух становится холоднее. — Два — под ногами — липкое. Я не хочу смотреть, что. — Три — она втягивает носом воздух. Она меня чувствует. — Четыре — я слышу, как её пальцы скребут по стене. Когти. — Пять. Я иду тебя искать!

Ноги отпускают. Не потому, что страх прошёл. А потому что она разрешила.

Я бегу.

Не помню, как открыл дверь. Не помню, как оказался на лестнице. Помню только ступени — холодные, каменные, стёртые до блеска. И на каждой ступени — царапины. Глубокие. Словно кто-то полз. Когтями. Стены и каракули на стенах.

Цветы. Домики. «Папа».

Бегу вниз. Раз, два, три ступени за раз. Колено болит — но это же сон. Во сне не бывает больно. Правда? Правда же? Я чувствую, как хрустит кость при каждом шаге. Как нога подкашивается. Как что-то острое врезается в подошву — я босиком? Когда я успел разуться?

— Семь — долетает сверху.

Она считает медленно. Слишком медленно. Она наслаждается. Я слышу, как она не идёт — она скользит. Один шаг — целый пролёт. Ползёт по стенам? Не оборачиваюсь. Нельзя. Если увижу — остановлюсь.

Лестница вьётся. Винт, ещё винт. Я запыхался. Но во сне не задыхаются. Или задыхаются? Грудная клетка горит.

Ступени кончаются.

Я должен быть внизу. У двери в коридор. Я помню эту дверь — деревянную, с железной ручкой. За ней — свобода. За ней — реальность. Но передо мной — снова лестница. Та же самая. Те же ступени, те же царапины на камне. Даже скол на третьей сверху — я только что наступил на него босой ногой.

Я иду вверх. Нет, я бегу вверх — но лестница не заканчивается. Пролёт за пролётом. Каракули на стенах — уже не цветы. Лица.

Педро. С выпученными глазами, с синим языком набок.

Дора. Толстая, с открытым ртом.

Арлекин. Верёвка врезалась в шею.

Они смотрят на меня. Рисунки углём — а глаза живые.

— Девять, — голос уже близко. Слишком близко. Прямо за спиной.

Я бегу быстрее. Кажется, что перепрыгиваю через три ступени. Нога проваливается — ступени нет. Просто дыра. Тьма. Я падаю на четвереньки. Ладони мокрые. Я смотрю — на руках кровь. Моя? Чужая? Не помню, чтобы порезался.

И тут я понимаю, что бегу уже не вниз и не вверх.

Я бегу по кругу. Лестница — это петля. Я бежал десять пролётов — и вернулся туда же. К той же двери. На которой теперь висит зеркало.

В зеркале — я. Но я стою на месте. А в отражении — бегу. И из спины моего отражения растут руки. Мамины руки. Они тянутся к моему горлу.

— Десять, — шепчет она над ухом.

Я просыпаюсь от лая резко, как от удара.

Рыжий стоит надо мной, лапа на груди. Лает — отрывисто, громко, как барабанная дробь.

— Тихо! — рычит Хром со скамьи. — Тихо, я сказал!

Пёс замолкает, но не убирает лапу.

Я сижу на соломе, весь мокрый. Рубаха прилипла к спине. Сердце стучит где-то в горле, пытаюсь вырваться.

Сон. Просто сон.

Я сижу на соломе, трясусь, как осиновый лист. Рубаху хоть выжми — вся мокрая. Рыжий всё не убирает лапу с моей груди — тяжёлую, мозолистую, с тёплыми подушечками. Дышит в лицо. От его дыхания пахнет сырым мясом — и ещё чем-то. Тем самым, чем пахло то чудовище на лестнице.

— Тихо, — шепчу я псу. — Тихо. Я уже проснулся. Видишь? Проснулся.

Рыжий наклоняет голову, будто проверяет — не вру ли. Потом убирает лапу и садится рядом.

Ну что, Аэлло? Понравилось? Спать расхотелось? Принцесса, мама, считалочка Поздравляю. У тебя богатое воображение.

Дверь псарни скрипит. Открывается.

Хром входит с большим деревянным блюдом в одной ру-

ке. На блюде — горка кровавых обрезков с жилами и кусками жира. Пахнет так, что мой желудок сначала сжимается от отвращения, потом — от голода.

— Еда, — бросает Хром и вываливает обрезки прямо на земляной пол.

Псы срываются с мест. Три оскаленные морды, три пасти, чавканье, рык, хруст костей. Я смотрю на них и чувствую, как живот сводит от голода.

Хром вытирает руки о штаны.

— Ты вчера пса кормил. Со своей руки. Я видел.

Я молчу.

— Не корми псов со своих рук, — Хром подходит ближе. Глаза у него — как два застывших угля. — Отвыкнут от цепи. Отвыкнут от меня. А мне потом с ними на охоту. Понял?

— Понял, — шепчу я.

— Что ты сказал?

— Понял, господин псарь! — выкрикиваю я.

Хром щурится.

— Шуты, — цедит он, сплёвывая под ноги. — Все вы одинаковые. Языком треплете, а делаете по-своему.

Он отворачивается к собакам.

Дверь скрипит снова.

Криспин. Горбатый, с палкой. Входит медленно, шаркая.

— Живой? — спрашивает он, как всегда.

— Уже нет, — бормочу я. — Но пока двигаюсь.

Старик подходит, садится на корточки передо мной.

Кряхтит. Смотрит в лицо — долго, пристально.

— Кричал ночью, псов разбудил. Сны снятся?

— Ничего не снится.

— Врёшь, — Криспин кивает спокойно. — И правильно. Надейся, Аэлло. Надейся на свой язык. И на то, что король сегодня будет в добром расположении духа. Сегодня будет банкет, — Криспин достаёт из-за пояса веник. Старый, ободранный, прутья торчат в разные стороны. — В честь приезда послов из соседнего королевства. Будет много еды. Много вина. И много скуки. Скуку лечить будешь ты.

Криспин осматривает меня с головы до ног. Грязная рубашка, грязные штаны, босые ноги, верёвочный след на шее, синяк на пол-лица. Волосы — чёрные, вьющиеся, слиплись от грязи и пота, падают на глаза. Скулы — острые, как у голодного волчонка, под ними — тени, будто кто-то углём провёл. И колено, распухшее как репа.

Красавец. Прямо портрет для сватовства. Принцессы падают в обморок от одного взгляда. Правда, от ужаса.

— Ты не то чтобы красавец, — говорит Криспин, словно прочитав мои мысли. — Но во дворце привыкли к шутам. Мы все так выгладим. Только вот.

Он протягивает руку к углу — туда, где на гвозде висит колпак Фесса. Моя рука сама собой дёргается назад.

— Не надо, — говорю я.

— Надо, — Криспин снимает колпак. — Фесс не обидится. Он уже мёртв.

— Его скормили собакам, — напоминаю я.

— Собаки его съели, — соглашается Криспин. — А колпак остался. И бубенцы — они не звонят, но это даже хорошо. Ты будешь звенеть своим языком.

Он надевает колпак мне на голову.

Колпак велик. Съезжает на ухо. Уши от колпака — длинные, дурацкие — падают на плечи. Отражение в лужице на полу — кривое, грязное, смешное.

— Ну что, — Криспин отступает на шаг. — Похож на шута?

— Похож на дурака, — говорю я.

— Одно и то же, — усмехается старик. — Пошли. Банкет уже начался. Если придём к десерту — успеем стащить пару пирожных.

Он хромает к двери. Я — за ним.

Рыжий пёс встаёт, провожает меня взглядом. Я останавливаюсь на пороге.

— Я вернусь, — говорю я псу.

Рыжий виляет хвостом.

Идёшь к королю. В колпаке мёртвого шута. С верёвочным следом на шее. Сегодня ты будешь смешным. Только не сдохни раньше десерта.

Я выхожу за Криспином в коридор. Пахнет жареным. Банкет ждёт.

Коридор тянется в обе стороны. Налево — туда, откуда я пришёл вчера. Направо — в неизвестность. Криспин пово-

рачивает направо, опираясь на палку и шаркая.

— Не отставай, — бросает он через плечо. — И ничего не трогай. Здесь каждая ваза стоит дороже твоей жизни.

— Моя жизнь сейчас ничего не стоит, — говорю я, догоняя. — Меня уже помиловали.

— Помиловали — не значит обесценили, — Криспин кашляет. — Король может передумать. Он любит передумать.

Мы идём мимо высоких окон — узких, со стрельчатыми арками. За ними — серое утро, дождь всё ещё моросит. Или уже снова? Я потерял счёт времени.

— Замок этот, — Криспин идёт медленно, останавливается у каждого поворота, будто показывает мне достопримечательности, — строили триста лет назад. Тогдашний король, Азраван Тиридат Астерион, дед Зервана, любил камень и ненавидел окна. Сказал: «Враг приходит через окна». Поэтому окна узкие, как бойницы, а двери — широкие.

Передо мной массивные дубовые створки, обитые железом.

— Оптимист был ваш дед, — бормочу я.

— Умер в своей постели, — Криспин пожимает плечами. — Враги пришли через дверь. Ночью. Так что он недооценил двери.

Мы сворачиваем в галерею. Справа — портреты. В рост, в тяжёлых рамах, с потрескавшейся краской. Короли, королевы, толстые младенцы с птичьими лицами.

Я смотрю на портрет. Пышная дама в красном платье, с улыбкой, похожей на трещину в стене.

— А это? — киваю на следующий.

— А это — никто. Картину купили, потому что понравилась рама. Кого на ней нарисовали — забыли.

Мы идём дальше. Коридор сужается, потолок опускается. Пахнет воском и старыми коврами.

— Этот зал, — Криспин останавливается у высокой арки, — называется Малый тронный. Это мемориал Азравана. В Большом тронном король принимает послов. Но Большой тронный сейчас ремонтируют — мыши потолок погрызли.

Мы проходим мимо ещё одного портрета. Мужчина в парике, с орлиным носом и мешками под глазами.

— Это Тиридат Пятый, — Криспин кашляет. — Тот самый, который издал указ, что шутам можно не носить штаны в жаркую погоду.

— Это правда? — я невольно улыбаюсь.

— Правда. И отменил через месяц, потому что шуты обморозили ну, ты понял. Климат здесь суровый.

Я смеюсь. Впервые за долгое время.

Мы поворачиваем за угол — и я врезаюсь во что-то мягкое и мокрое.

Горячее.

И пахнет — луком.

Горячая жижа разливается по полу. Я чувствую запах — чеснок, лук, капуста, какой-то мясной бульон.

— А-а-а! — визжит женский голос.

Я отшатываюсь и вижу — служанка. Лет шестнадцати, с веснушками на носу и раскрасневшимся лицом, в грязном переднике. В руках у неё был горшок — теперь горшок валяется на полу, и тёплая жижа растеклась по камням, заляпав мои штаны и её юбку.

— Вы вы! — она смотрит на меня круглыми глазами. — Это вы!

Я узнаю её не сразу. Она та, что перебирала лук на кухне. Девушка с луком.

— Милли, — представляется она, будто я спрашивал. — Я вас помню. Вы тот шут. Который к Турсу приходил. Из-за мальчишки.

— Аэлло, — говорю я и кланяюсь. Неловко, потому что колпак сползает на глаза. — Да, я тот самый.

Она вытирает руки о передник, потом смотрит на себя — вся в похлёбке. На юбке — пятно, на груди — тоже, и щека, кажется, тоже в соусе.

— Простите, — добавляю я. — Это я виноват. Не смотрел.

— Виноват, — Милли поднимает горшок, ставит его на пол. В горшке ещё что-то плещется на дне. — А толку? — она кивает на лужу. — Турс меня убьёт.

Я смотрю на лужу. Потом на неё.

— Скажите, что я виноват. Что шут балбес, налетел, опрокинул.

— А вы и есть балбес, — Милли поднимает глаза. И улыбается. Не зло — скорее, устало. — Вы глупый, что к Турсу полезли. Глупый, что ночью по замку шастаете. Но — она замолкает, теребит край передника.

— Что? — я наклоняю голову. Колпак снова съезжает.

— Ничего, — она отводит взгляд. Потом смотрит снова. Прямо. — Вы симпатичный. Даже в этом дурацком колпаке.

Вот это да. Ты — симпатичный. Служанка, которая видела, как ты спорил с Турсом, которая знает, что ты шутишь, который метёт псарню, — называет тебя симпатичным.

— Симпатичный? — я усмехаюсь. — Вы плохо видите, милая Милли. Или просто привыкли к поварям.

— А вы грубый, — говорит она, и уголки губ опускаются. — Я вам ничего плохого не сделала. Сказала, как есть. А вы — А я шутишь, — отвечаю я холодно. — Моё дело — смешишь, а не нравиться.

Милли поджимает губы. Поднимает горшок, прижимает к груди, как ребёнка.

— Идите, ваше шутовство. Криспин ждёт.

Она поворачивается и быстро уходит.

Ты всё правильно сделал, Аэлло. Симпатия — это оковы. А оковы — это когда не убежишь.

— Аэлло, — Криспин трогает меня за плечо. Я и забыл, что он рядом. — Ты чего? Девочка добрая. И глазки у неё ну да ладно. Пошли.

Я иду за Криспином, но мысли — где-то далеко. Не во

дворце. Не в коридоре с портретами. Там — на площади. У помоста. Где остались они.

Двое актёров. Помощник сцены. Старый музыкант.

Их помиловали. Король махнул рукой — «живут». Что значит «живут»? Живут — где? Как? Добрались ли до города?

Ты их бросил. Выкрутился сам, а их — как собакам кость. Молодец. Талантливый эгоист. Таким и быть шутком.

Я вспоминаю их лица.

Филипп. Двадцать три года. Играл королей и злодеев — получалось одинаково убедительно. Филипп любил выпить перед спектаклем. И после. И вместо спектакля — тоже.

Что с тобой сейчас, Филипп? Сидишь в канаве, обнимаешь флягу? Или нашёл другую трупку? Или — уже нет?

Жак. Девятнадцать лет. Красавчик — высокий, белокурый, с лицом херувима и душой крысы. Жак играл любовников. Зрительницы бросали ему цветы, монеты, нижнее бельё. Жак продавал бельё на рынке и делал неплохой гешефт. Он менял женщин каждую неделю, и каждую он бросал с одной и той же фразой: «Не принимай на свой счёт, это просто такой период в моей жизни».

Красавчик Жак. Надеюсь, тебя не избили. Или избили — но не сильно. Ты же всегда выкручивался. Как я.

Олдрик. Помощник сцены. Сорок лет, но выглядит на шестьдесят. Сутулый, молчаливый, с вечно дрожащими ру-

ками. Олдрик не играл — он таскал декорации, подметал сцену, чинил костюмы. Он умел из обрывка занавески сшить платье для Доры, а из старого стула — трон для Филиппа.

Что с тобой сейчас, Олдрик?

Мастер Грегор. Старый музыкант. Лет шестьдесят, седая борода, пальцы скрючены артритом, но когда он брал в руки лютню — пальцы распрямлялись и жили своей жизнью. Грегор играл всё — от похоронных маршей до свадебных танцев. Он говорил: «Музыка — это мост между тем, что ты чувствуешь, и тем, что не можешь сказать». Грегор никогда не пил, не курил, не ругался. Филипп считал его святым. Жак — придурком. А я я просто слушал. Особенно по ночам, когда труппа спала, а Грегор сидел у костра и играл.

Грегор. Тебя не повесили. Но ты старый. Без лютни ты не выживешь, а её, наверное, сожгли или отобрали стражники. Кто ты теперь? Поющий нищий на обочине?

Я остаиваюсь посреди коридора.

— Криспин, — говорю я. — А мои те, кого помиловали вместе со мной

— Живут, — перебивает старик, не оборачиваясь. — Если боги не дураки. А боги — дураки, но иногда милосердные. Город рядом, найдут таверну, наймутся на подёнщину. А может, и новую труппу соберут.

— Они не соберут, — шепчу я. — Филипп — пьяница. Жак — бабник. Грегор Грегор без инструмента — как я без языка.

— Ну, — Криспин пожимает плечами. — Значит, не соберут. Значит, умрут. Мы все умрём. Ты — сегодня, я — завтра, они — через месяц.

Я сглатываю.

Ты хотел быть героем? Вытащить всех? Не вышло. Ты вытащил себя. Не ной. Сыграй благодарность. Сыграй, что тебе не больно.

— Идём, — говорю я вслух. И догоняю Криспина.

Мы сворачиваем в боковой проход. Узкий, низкий, пахнет сыростью и старыми тряпками. Криспин останавливается у деревянной двери, толкает её плечом.

— Каморка моя, — бросает он. — Входи. Не душно, зато сухо.

Я захожу. Комната — клетушка, меньше псарни. Стол, табурет, лежанка с тюфяком.

Криспин копается в сундуке. Достает штаны — чёрные, с заплатками, но чистые. Рубаху — белую, холщовую, с широкими рукавами. Куртку — зелёную, с жёлтыми нашивками.

— Это мне? — я смотрю на одежду, как голодный — на хлеб.

— Тебе, — Криспин кидает вещи на табурет. — Носи. Мои старые. Я уже не влезу — горб мешает. Да и ростом ты повыше.

Я трогаю рубаху. Она сухая и мягкая.

— Спасибо, — говорю я.

— Не благодари, — Криспин отворачивается. — Ты те-

перь шут его величества. Если пойдёшь к королю в грязном — он решит, что это намёк, что он скуп. А он не скуп. Он просто экономный.

— Экономный? — я усмехаюсь.

— Экономный, — кивает Криспин. — Деньги любит больше, чем власть. Так что не позорь двор. Мойся.

— Где? — оглядываюсь.

Криспин кивает на ведро в углу. Ведро большое, деревянное. Рядом — ковш. Вода — мутноватая, но без запаха.

— Вода из колодца. Холодная. Не жалуйся, что холодная. В бане мыться будешь в субботу, если доживёшь.

Я смотрю на ведро. Потом на себя.

— Прямо здесь?

— А где ты хотел? В королевской купальне? — Криспин усмешается. — Мойся, не стесняйся.

Он отворачивается к стене и начинает перебирать колпаки.

Я раздеваюсь.

Стягиваю рубаху — она трещит, прилипла к спине. Снимаю штаны — на них засохли следы псарни и кухни. Смотрю на себя в тусклом свете свечи. Кожа бледная, вся в синяках. Рёбра торчат.

Красавец, — думаю я. — Милли назвала меня симпатичным. Врунья.

Зачерпываю ковшом. Лью воду на голову. Холод — такой, что перехватывает дыхание.

— Гхх — вырывается у меня.

— Терпи, — бросает Криспин. — На том свете будет горячо.

Лью ещё. Тру себя руками — грязь отходит кусками. Волосы становятся мокрыми, тяжёлыми. Вода в ведре кончается быстро.

— Всё? — спрашивает Криспин, не оборачиваясь.

— Всё, — зубы стучат. Я вытираюсь тряпкой, которую старик кидает не глядя.

Одеваюсь.

Рубаха — великовата, но сидит хорошо. Штаны — коротковаты.

— Обувь? — спрашиваю.

— Найдём, — Криспин поворачивается. Окидывает меня взглядом и протягивает мне куртку.

— Надевай. И колпак поправь.

Я натягиваю куртку. Она короткая, до пояса. Застёгивается на две пуговицы — медные, блестящие. Колпак съезжает на ухо. Я поправляю его. Бубенцы не звенят — залиты воском.

— Почему Фесс залил их воском? — спрашиваю я. — Чтобы не звенели? Зачем?

Криспин замирает. Прямо на полуслове, на полшаге. Я вижу, как его кадык дёргается — вниз, вверх, будто он проглатывает что-то твёрдое и неудобное.

— Зачем? — переспрашивает он тихо.

— Да. Зачем шуту заливать внутрь бубенцов воск?

Старик смотрит на меня. Долго. Потом переводит взгляд на колпак у меня на голове.

— Много будешь знать, — говорит он наконец, и голос его звучит так, будто он не со мной разговаривает, а с кем-то у себя в голове, — скоро состаришься.

— Я и так молод, — усмехаюсь я. — Могу рискнуть.

— Не рискуй, — Криспин отворачивается и добавляет, будто спохватившись: — Обувь, ты говорил? Обувь. Найдём. У меня где-то валялись старые башмаки. Не твоего размера, но подложишь соломы.

Он резко сворачивает в боковую дверь, и я за ним.

Криспин роется в сундуке — на этот раз в другом. Достает башмаки. Кожаные, стоптанные, с потрескавшимися подошвами.

— Примерь, — бросает он.

Я примеряю. Жмут. Но лучше, чем босиком.

— Спасибо, — говорю я.

— Не благодари, — Криспин выпрямляется, опираясь на палку. — Заплатишь, когда будет чем.

Мы выходим обратно в коридор. Колпак съезжает на левый глаз, и я поправляю его.

Глава 5. Шерсть и железо

Зал — огромный. Я думал, что видал дворцы — мы играли в богатых городах, у герцогов, даже у одного архиепископа, но это это другое.

Высоченный потолок теряется в темноте. Стены — в гобеленах. Охотничьи сцены: псы рвут оленя, соколы клюют цаплю, всадники с копьями — и везде кровь. Красная, вышитая шёлком, поблёскивает в свете сотен свечей. Колонны — мраморные, с золотыми прожилками, будто кто-то пролил драгоценности и забыл вытереть.

Три стола. Длинные, дубовые, ломящиеся от еды. Гуси, запечённые с яблоками. Поросёнок с розовыми ушами и лимоном в зубах. Рыба — огромная, серебряная, лежит на блюде, как королева на смертном одре. Пирог с румяными корками, из-под которых сочится сок. Вазы с фруктами — виноград, гранаты, яблоки, каких я не видел с тех пор, как

Не смотри на еду. Смотреть на еду — значит хотеть есть. Ты здесь не жрать. Ты здесь — смешить. Хотя жрать тоже хочется.

Придворные — как куклы. Сидят, прилипнув к скамьям, спины прямые, шеи вытянутые. Шепчутся. Кто-то ковыряет вилкой в тарелке, не глядя на еду — смотрит на короля. Другие смотрят на меня. Уже. Сразу. Как только я появился у задней стены, как только колпак показался из-за колонны.

Шеи поворачиваются. Глаза — холодные, любопытные.

Зрители, — думаю я.

Я перевожу взгляд на трон.

Он стоит на возвышении. Не золотой — резной, дубовый, чёрный от времени. На подлокотниках — львиные головы. На спинке — дракон с раскрытой пастью.

На троне — король.

Зерван.

Ближе, чем на эшафоте. Я вижу его лицо — не просто силуэт под дождём. Белое, рыхлое, с мешками под глазами и бледными, почти бесцветными губами. Нос — длинный, с горбинкой — он чешет его всё тем же пальцем. Король не старый — лет сорок, не больше. Но выглядит на шестьдесят.

Даже сейчас, на банкете, в окружении еды, вина, послов и придворных. Даже когда я стою перед ним в дурацком колпаке. Он скучает.

Сделай что-нибудь. Упади. Запой. Встряхни его. Иначе ты получишь плети.

Я делаю шаг вперёд. Колпак съезжает на правый глаз. Я оставляю его так. Пусть видит во мне дурака. Пусть все видят.

— Ваше Величество! — кричу я звонко, так, что своды отзываются эхом.

Король моргает. Поворачивает голову. Смотрит на меня как на муху, без какого-либо интереса.

Я кланяюсь. Низко. До земли. Колпак падает. Я поднимаю

его, надеваю задом наперёд. Потом переодеваю правильно. Потом снова задом наперёд.

— Не могу выбрать, — говорю я громко, для всех. — Какой стороной к вам повернуться лицом?

Король молчит.

Придворные молчат.

Я слышу, как кто-то кашляет в задних рядах.

— Вставай, — говорит король. Не громко, но в зале тихо — слышно каждое слово.

В зале тихо. Я замираю на коленях, с колпаком в руке.

Вставай, Аэлло. Вставай и улыбайся.

Я поднимаюсь. Медленно. С достоинством, которого у меня нет. Поправляю колпак — теперь правильно. Улыбаюсь — самой пустой, самой дебильной улыбкой.

Король усмехается. Уголком рта.

Придворные оживают — кто-то хихикает, кто-то давится смешком, кто-то просто улыбается в усы.

Первый шаг сделан.

Я медленно иду вдоль стола. Смотрю на еду. Останавливаюсь у огромного блюда с мясом. Ломти, соус, розмарин. Красиво. Неприлично красиво.

— Ваше Величество, — говорю я, поворачиваясь к королю, и голос мой звучит доверительно, почти по-семейному, — ваша кухня — как тронный зал. Только там больше интриг.

Король поднимает бровь. Придворные замирают.

— Например, — кричу я звонко, — вчера я имел честь беседовать с вашим досточтимым поваром господином Турсом! Он был так любезен, что пообещал сделать из меня колбасу. Представляете, Ваше Величество? Из меня! Колбасу! Я так тронут.

Я смотрю на Турса. Тот стоит у серванта, красный, как варёный рак.

— Он сказал: «Собакам скормлю». А я, знаете, Ваше Величество, живу в псарне. Собаки — мои соседи. И один пёс, рыжий, меня уже лизнул. Пробует, так сказать, на вкус. Теперь я молюсь, чтобы пёс был сегодня сыт. Потому что голодный пёс — это вам не шутка. Тот самый случай, когда бубенцы звенят от страха.

Король смеётся.

Сначала — дёрганье плеча. Потом — хриплый, раскати-стый звук. Придворные подхватывают — кто искренне, кто через силу. Турс молчит. Глаза впиваются в меня, как гвозди.

— Садись. Ешь, — цедит король сквозь смех.

Я сажусь на место рядом с Криспином. Тот молча поддвигает мне пирожное.

— Дурак, — шепчет он.

— Знаю, — шепчу в ответ и откусываю сразу половину.

Ты идиот. Ты при всех оскорбил повара, который режет мясо ножом размером с твою ногу. И который знает, где ты спишь.

— Турс, — говорит король, не глядя на повара. — Шут шутит. Ты не обижаешься?

Турс молчит. Потом — сквозь зубы, низко, как рык:

— Никак нет, Ваше Величество.

— Вот и славно, — король берёт с тарелки виноградину, кидает в рот.

Я жую пирожное. Сладкое, с кремом, таким жирным, что пальцы слипаются. Криспин отодвигает от меня тарелку.

— Не обжирайся, — шепчет он. — Сытый шут — плохой шут. Шут должен быть голодным. Тогда его шутки острее.

— Я и так острый, — шепчу в ответ, откусывая второе. — Как нож господина Турса.

Криспин усмехается в бороду.

Я поднимаю взгляд. За главным столом — король, советник, несколько вельмож с кислыми лицами. И пустые места. Два. Напротив короля.

— Кого ждём? — спрашиваю я, кивая на пустые стулья.

— Послов, — Криспин отхлёбывает из кубка. — Из-за моря. Королевство Артура. Богатые, как сто чертей. Торгуют шерстью и железом. И ещё говорят, что у них там эльфы водятся.

— Эльфы?

— Врут, — Криспин качает головой. — Но шерсть хорошая.

Двери открываются.

Громко — створки бьют в стены. Входит мужчина — то-

щий, с вытянутым лицом, — бьёт посохом об пол:

— Его Величество король Зерван Тиамат Астерион принимает послов короля Артура, владыки Западных Земель, Хранителя Железных Ворот, Повелителя — он перечисляет ещё с десятков титулов, но я уже не слушаю.

Послы. Трое.

Первый — старый, с лисьим лицом и седой бородой, в мехах, которые стоят больше, чем вся наша труппа за десять лет. Второй — молодой, рыжий, с веснушками и наглой улыбкой. Третья — женщина. Высокая, с чёрными волосами, в зелёном платье. Глаза — как у кошки.

Они кланяются — не низко, так, обозначают вежливость.

— Ваше Величество, — говорит старый голосом, похожим на скрип половиц. — Король Артур шлёт вам свои наилучшие пожелания. И дары, которые уже разгружают во дворе.

— Дары? — король оживает. Глаза блестят. — Какие?

— Шерсть, — говорит рыжий, ухмыляясь. — Три тюка. Лучшая. И вино. Двадцать бочек.

— Шерсть, — король разочарованно откидывается на спинку трона. — Я думал, золото.

— Золото кончилось, — женщина усмехается. — Война с соседями дорогое удовольствие.

Король не смеётся. Но жестом приглашает послов к столу — на пустые места.

Они садятся. Слуги наполняют кубки. Вино — красное,

густое, пахнет ягодами. Даже отсюда, из конца стола, я чувствую.

— Пьём за дружбу королевств! — провозглашает король, поднимая кубок. — Пусть наши границы будут открыты для торговли, а для врагов — закрыты.

— И для друзей, — добавляет старый посол, чокаясь. — Для друзей тоже открыты.

Они пьют.

Первый кубок. Второй. Третий.

Король хорошеет на глазах — краснеет, расслабляется, начинает улыбаться не только уголком рта, но всеми зубами. Советник Гарт морщится, но молчит. Послы тоже пьют — старый держится молодцом, рыжий хмелеет быстро, начинает говорить громче, жестикулировать. Женщина — пьёт, но не пьянеет. Только щурится. Смотрит на короля. Смотрит на меня.

На меня?

Отвожу взгляд.

— Ваше Величество, — говорит рыжий посол заплетающимся языком. — А правда, что у вас есть дочь? Красивая, говорят. Принцесса.

Король замирает. Кубок на полпути ко рту.

— Есть, — говорит он коротко.

— Говорят, — старый посол перехватывает тему, — что вашей Луане скоро сколько? Восемнадцать?

— Семнадцать, — поправляет король. — Будет восемна-

дцать. В конце лета.

— О! — рыжий хлопает по столу. — Восемнадцать! Самый возраст. Для замужества.

Тишина.

Я вижу, как Криспин замирает с ложкой у рта. Как советник Гарт сжимает губы в нитку. Как король медленно ставит кубок на стол.

— И что? — спрашивает он. Голос — спокойный, но в нём что-то есть. Лёд. Под тонким слоем вина.

— Наш принц Генрих, — старый посол наклоняет голову, — второй сын короля Артура. Ему двадцать. Он красив, образован, силён в седле и в шахматах. И он ищет невесту.

— Второй сын, — король усмехается. — Не наследник.

— Не наследник, — соглашается посол. — Но военачальник. Командует северной армией. И, если старший брат — он делает паузу, — вдруг не справится

— У старшего чахотка, — вставляет рыжий пьяно. — Доктора говорят — не жилец.

— Тише! — старый посол шипит на него. Но поздно.

Король смеётся. Коротко, без радости.

— То есть вы предлагаете мою дочь, принцессу крови, в жёны человеку, который надеется унаследовать трон через труп старшего брата?

— Мы предлагаем союз, — женщина говорит впервые. Голос низкий, спокойный. — Союз, который укрепит оба королевства. Шерсть и железо — с одной стороны. Дерево и

зерно — с другой. Вместе мы станем сильнее. А ваш внук, возможно, сядет на трон Артура.

— Возможно, — король берёт кубок, пьёт до дна. — Возможно, нет. А вдруг чахотка пройдёт? А вдруг старший брат выживет и нарожает десяток наследников?

— Тогда ваш внук будет командовать армией, — старый посол пожимает плечами. — Тоже неплохо.

Король молчит. Долго.

Я смотрю на него. На его лицо — красное от вина, но глаза трезвые. Совсем трезвые. Он не пьян. Он притворяется. Или пьёт так, что алкоголь не берёт.

Интересно, — думаю я. — Знает ли он? Про проклятие? Про мать? Про то, что Луана — не просто принцесса, а

— День рождения Луаны, — говорит король, словно пробуя слова на вкус. — В конце лета. Приезжайте. Все. С принцем Генрихом. Посмотрим друг на друга.

— То есть вы не отказываете? — оживает рыжий.

— Я ничего не обещаю, — король поднимает палец. — Я говорю: приезжайте. Посмотрим. Если принц понравится моей дочери если она согласится

— А если нет? — женщина щурится.

— Тогда останемся друзьями, — король улыбается. — Шерсть и зерно. Дружба и вино. Этого достаточно, правда?

Послы переглядываются.

— Конечно, Ваше Величество, — старый кланяется. — Мы передадим королю Артуру ваше приглашение.

— Передайте, — король кивает.

Он снова берёт кубок. Слуга наполняет. Король пьёт — медленно, не отрываясь.

Я отворачиваюсь к Криспину и шепчу:

— Он что, правда хочет выдать её замуж? Эту принцессу?

Криспин не отвечает. Смотрит в тарелку.

— Криспин?

— Не лезь, — бормочет старик. — Не твоё дело. Твоё дело — шутить.

— А это не смешно?

— Это, — Криспин поднимает на меня глаза. Мутные, старческие. — Это вообще не смешно.

Он берёт пирожное и засовывает его целиком в рот.

Я смотрю на короля.

Он пьёт снова. И послы пьют. И все делают вид, что разговор о принцессе был просто разговором.

Банкет идёт своим чередом. Подают жареного лебедя — с перьями, с клювом, с глазами из чёрного перца. Кто-то из вельмож икает. Кто-то лезет целоваться к советнику Гарту. Кто-то уже спит, уткнувшись лицом в тарелку с соусом.

Король пьян. По-настоящему. Глаза слипаются, голова клонится к плечу. Он борется со сном, но проигрывает.

Послы тоже пьяны — кроме женщины. Она пьёт, но не пьянеет. Я слежу за ней краем глаза.

Кто ты, — думаю я. — Посол? Шпион? Или что-то ещё?

Она встаёт.

Идёт к выходу. Проходит мимо меня. Останавливается.
— Хорошо шутишь, — говорит она тихо.

Я смотрю ей вслед. Платье зелёное, как трава. Волосы чёрные, как смоль. Походка — кошачья. Или волчья.

Я беру ещё одно пирожное. Жую. Сладко. Жирно.

Криспин уже спит — уронив голову на сложенные руки. Храпит тихо, как старый кот.

Король спит — его уводят под руки стражники.

Придворные расходятся — кто шатаясь, кто на четвереньках.

Остаюсь я, среди объедков, опрокинутых кубков, засохшего соуса на скатерти.

— Эй, шут, — раздаётся голос за спиной.

Турс.

Стоит в проходе, руки в бока, фартук в пятнах.

— Ещё раз ляпнешь про меня — я тебя, — он не договаривает. Только проводит пальцем по горлу.

— Господин Турс, — я поднимаюсь, кланяюсь — низко, почти до земли, — я буду нем, как рыба.

Турс плюёт на пол и уходит.

Я остаюсь один.

Смотрю на потолок — чёрный, теряющийся в высоте.

Луана, — думаю я. — Тебя хотят продать. За шерсть. За железо. За двадцать бочек вина. А ты даже этого не знаешь.

Я беру последнее пирожное, засовываю в карман куртки.

На завтра. На утро.

Выхожу из зала. Коридор пуст. Свечи догорают. Где-то далеко — шаги. Или мне кажется.

Иду в псарню.

Он не отдаст её, — думаю я. — Не отдаст. Потому что она — его тайна. Его стыд. Его проклятие. Зачем ему портить жизнь принцу Генриху?

Аэлло, шут его величества. Шут, который думает о принцессе

Идиот.

Глава 6. Проклятый шут

Прошло три месяца.

Три месяца я живу при дворе. Я сплю в псарне, чиню башмаки соломой и иногда получаю плети.

Но я смеюсь. Даже когда плачу. Даже когда спина горит после плёток.

Лестница — та самая, винтовая, с детскими каракулями — стоит в боковом коридоре западной башни. Я прохожу мимо неё каждый день и каждый раз отвожу взгляд.

Я сторонюсь её уже три месяца. Каждый раз, когда иду к Криспину в каморку или возвращаюсь в псарню, я делаю крюк, чтобы не видеть этот проём. Потому что если увижу — пойду, а если пойду — не знаю, что будет.

Иногда, по ночам, когда я выхожу из псарни по малой нужде и поднимаю голову к замковым башням, я вижу её. Силуэт. Белое пятно на фоне чёрного неба. Луана. Стоит у окна и смотрит на луну.

Я смотрю на неё.

Стою внизу, на грязном дворе, босиком, в штанах, которые мне велики, и смотрю на белое пятно.

Её хотят выдать замуж за принца Генриха. Послы уехали,

но скоро вернутся. К концу лета. На день рождения привезут принца.

Я видел принца на портрете, который привезли послы, — молодой блондин с голубыми глазами, красивый, спору нет. Но почему-то он мне сразу не понравился.

Рыжий пёс. Теперь он мой. Не официально — Хром не отдавал и не отдаст. Но по ночам он спит у моих ног, и когда я ворочаюсь от боли в колене, он вздыхает и кладёт голову мне на грудь. Тяжёлую, лобастую.

У него нет имени. Точнее, есть — Хром зовёт его «Рыжий», а чёрного — «Чёрный», а серого — «Серый». Оригинально, ничего не скажешь.

Я придумал ему имя — Друг. Просто Друг.

Криспин учит меня каждый день по часу. Иногда больше — если при дворе затишье и король в хорошем расположении духа. Я и раньше умел смешить, но Криспин научил меня выживать.

— Шут, — говорит Криспин, — это не колпак. Не бубенцы. Не умение кривляться. Шут — это роль.

— Я знаю, — отвечаю я.

— Ты думаешь, что знаешь, — он поднимает палец. — Но не знаешь. В театре у тебя есть зрители, которые заплатили. Они хотят смеяться. Они пришли за смехом. А здесь... здесь зрители не заплатили. Им плевать на твоё искусство. Они хотят одного — чтобы кто-то был ниже их. Понимаешь?

— Понимаю, — говорю я. — Унижение.

— Унижение ближнего, — Криспин кивает. — Вот что здесь смешно. Не острота, не игра слов, не изящный жест. Когда толстый вельможа падает с лестницы — смешно. Когда старый герцог пукает за столом — смешно. Когда шут кого-то обливает вином — смешно. Но только не важного и не сильного. Того, кто слабее. Потому что все здесь хотят знать: есть кто-то ниже их. Если ты сделаешь так, чтобы они почувствовали себя выше, — ты получишь их смех.

Он учит меня кланяться.

— Не низко. Низкий поклон — это для короля. Для всех остальных — чуть наклонить голову. Сделать вид, что ты ниже, но не слишком.

Он учит меня подсыпать перец в вино.

— Только не королю. Никогда. Только тому, кого нужно осмеять. Посыпь на кончике ножа. Размешай. Когда он чихнёт — сделай вид, что это он сам. Что он — дурак. Все засмеются. Даже он — потом.

Он учит меня делать лицо.

— «Дурачок, который не понимает, что его оскорбляют». Вот смотри.

Криспин расслабляет нижнюю челюсть. Глаза становятся мутными, пустыми — как два заброшенных колодца. Губы приоткрываются, язык чуть высунут. Руки висят плетьюми. Плечи опущены.

— Это лицо, — говорит он, не меняя выражения, — спасло мне жизнь сто раз. Когда вельможа кричит на тебя, а ко-

роль смотрит — сделай это лицо. Все подумают: «Он глуп. Он не понимает, что его оскорбляют. Зачем его бить? Он же дурак». Понял?

— Понял, — я пытаюсь повторить.

— Не так. Сильнее расслабь. Не двигай бровями. Не моргай часто. Смотри в одну точку.

Я делаю. Криспин смотрит. Ухмыляется.

— Похож на придурка.

— Спасибо, — бормочу я, не меняя лица.

— Ещё оскорбления. Тебе нужно научиться оскорблять так, чтобы никто не понял, что это оскорбление. Намёк. Полунамёк. Пауза. Вопрос.

— Например? — спрашиваю я.

— Например, вельможа лысый. Нельзя сказать: «Ты лысый». Можно сказать: «Где вы покупаете воск для своих сапог? Потому что на вашей голове он блестит лучше». Все засмеются. А он не сможет доказать, что это оскорбление. Потому что ты сказал про воск для сапог.

Я смеюсь.

— Учись, — Криспин постукивает палкой. — Через полгода я умру.

— Не умрёшь, — говорю я.

— Умру, — он пожимает плечами. — Я старый, больной, да и шутком быть перестал, но пока я жив — учись.

Мои шутки становятся злее. Сначала я пытался быть остроумным. Игра слов, изящные повороты — нас этому учили

в трупше.

«Зритель должен смеяться от ума, а не от глупости», — говорил мастер Грегор.

Грегор теперь далеко. Наверное, мёртв.

Здесь не работает ум. Здесь работает унижение.

Я понял это в первую пятницу, когда никто не смеялся и меня повели в подвал. Плетки оставляют рубцы. Я их не показываю — но они есть.

— ...А вы слышали, — говорю я за столом во время обеда, обращаясь к толстому вельможе по имени барон Эрхард, — почему господин барон не ест суп? Потому что боится увидеть своё отражение в ложке!

Смех. Барон краснеет. Но не может ударить — при короле нельзя.

— ...Господин советник, — кричу я через весь зал, когда Гарт зачитывает указ о новых налогах, — вы так любите цифры, что даже овец перед сном считаете в процентах от общего стада!

Советник не смеётся. Король смеётся. Этого достаточно.

Я становлюсь жестоким, и мне это нравится.

Нравится? Тебе нравится унижать людей? Аэлло, ты превращаешься в того, кого ненавидел. В того, кто смеётся над слабыми. Помнишь, как Турс пнул мальчишку? Ты теперь — такой же.

Я стал придворным шутком. Настоящим.

Милли.

Она появляется везде. В коридорах, на кухне, во дворе, даже у псарни — хотя ей туда не положено. Стоит за углом, ждёт, когда я выйду. Улыбается. Протягивает мне пирожок — краденый, с пылу с жару.

— Это вам, господин Аэлло, — шепчет она, оглядываясь на Хрома. — Я с кухни стащила. Вы же любите с луком.

— Я ничего не люблю, — отвечаю я холодно, но беру пирожок.

— Вы просто притворяетесь, — Милли не отступает. Она наклоняет голову. — Я же вижу. Вы добрый.

— Я — шут, — говорю я. — У меня нет лица. У меня есть маски. Их много. Доброта не входит в набор.

— Врёте, — она улыбается и убегает.

Она влюбилась в тебя, Аэлло. Или в то, что ты из себя изображаешь. Идиотка. Откажи ей. Прогони. Сделай больно — сейчас, а не потом. Потом будет хуже.

Она приходит снова. На следующий день. Через день. Каждый день.

Иногда с едой. Иногда с новостью — кто с кем спит, кого кого обокрал, у кого в сапогах дырка. Милли знает всё. Служанки — глаза и уши замка. Они видят, слышат, запоминают.

— А вы знаете, господин Аэлло, — шепчет она, прижимаясь к стене, — что барон Эрхард вчера ночью упал с лестницы? Пьяный был. Теперь лежит, охает, никого не пускает.

— Смешно, — говорю я. — Завтра придумаю шутку.

— Вы уже придумали, — она улыбается. — Вы всегда придумываете.

— Откуда знаешь?

— Я вас слушаю, — она опускает глаза. — Всегда слушаю. Даже когда вы спите.

— Ты приходишь в псарню? — я хмурюсь.

— Нет, — она поднимает голову. Глаза — зелёные, широкие. — Я подхожу к дверям, а Хром не пускает. Я стою и слушаю. Во сне вы кричите иногда.

— Это не твоё дело, — отрезаю я.

— Не моё, — соглашается она. — Но мне не всё равно.

Она уходит. Я стою, смотрю на угол, за которым она скрылась.

Прогони. Прогони сейчас. Ты — яд. Ты — проклятие. Всё, к чему ты прикасаешься, умирает. Помнишь? Трупна? Педро? Дора? Арлекин? Мать?

Я не прогоняю.

Я слабый. Я эгоист. Мне нравится, что кто-то меня любит. Даже если это глупая служанка с веснушками.

Однажды утром, когда я прохожу мимо кухни — не заходя, просто мимо — меня хватают за шиворот стражники. Двое. Те самые — Гюнтер и Михель.

— Ты, — говорит Гюнтер, пыхтя. — Иди за нами. Король зовёт.

— Король? — я поднимаю брови. — В такую рань? Что-то случилось?

— Иди, — Михель толкает меня в спину.

Меня ведут в тронный зал. На троне — Зерван. Рядом — советник Гарт, серый и сухой, как прошлогодний лист. У ног трона стоит Турс. Красномордый, в чистом фартуке, сложив руки на груди.

Король смотрит на меня. В глазах — лёд.

— Шут, — говорит он. — Говорят, ты ворует.

— Я? — я прижимаю руку к груди. — Ваше Величество, я — шут. Я не краду, я

— Молчать! — рявкает советник.

Я замолкаю.

— Турс, — король кивает повару. — Говори.

Турс выступает вперёд и смотрит на меня не сводя взгляда.

— Ваше Величество, я уже три месяца замечаю пропажу продуктов. Мясо, сыр, вино, пироги. Всё исчезает по ночам. Я следил и поймал. Ваш шут, Аэлло, ворует с кухни.

— Это ложь, — говорю я. Голос мой звучит спокойно. Слишком спокойно. — Ваше Величество, это провокация! — я делаю шаг вперёд. — Турс меня ненавидит!

— У нас есть свидетели, — перебивает советник.

— Какие?

— Сейчас будут.

Дверь открывается. Вводят Милли.

Она бледная, руки дрожат, на лице — синяк. Кто-то её ударил. Она не смотрит на меня. Не может.

— Служанка Милли, — говорит советник. — Ты работаешь на кухне. Видела, как шут Аэлло крадёт продукты?

Милли молчит.

Турс смотрит на неё. Улыбается.

— Милли, — голос короля — вкрадчивый, почти ласковый. — Ты видела? Говори правду. Если соврёшь — получишь плети. Если скажешь правду — получишь награду.

Милли поднимает глаза. Смотрит на меня. В её взгляде — ужас.

Я смотрю на Милли.

Скажи что-нибудь. Пошути. Сделай лицо дурачка. Разыграй непонимание. Спаси себя. Спаси — любой ценой.

— Ваше Величество, — говорю я тихим, доверительным голосом, — могу я сказать на ухо?

— Говори при всех, — советник качает головой.

— Это важно, — я делаю паузу.

Король кивает. Я подхожу к трону, наклоняюсь, шепчу:

— Эта девушка, Милли. Она сама крадёт. Я видел. Она приносила мне пирожки — не мои, её. Она хотела, чтобы я молчал.

Я отшатываюсь.

Король смотрит на меня. Долго. Потом переводит взгляд на Милли.

— Ты, — говорит он. — Ты воровала?

Милли смотрит на меня.

— Я — Милли запинается. — Я

— Говори правду, — советник повышает голос. — Или получишь плети.

Милли смотрит на меня снова.

Я молчу и делаю лицо дурака.

— Да, — Милли опускает голову. — Это я воровала. Я хотела накормить шута. Он такой худой. Я думала он умрёт с голоду.

Тишина.

Король смеётся.

— Накормить шута, — он качает головой. — Какая заботливая. Только шут — это шут. Шуты не должны быть сытыми.

— Ваше Величество, — я низко кланяюсь, — она не хотела зла. Она просто глупая.

— Глупых наказывают, — советник цедит.

Король машет рукой.

— Десять плетей. И выгнать. Чтобы духу её не было в замке.

Милли вскрикивает.

— Ваше Величество! — я падаю на колени. — Она же ради меня! Накажите меня!

— Нет, — король усмехается. — Порядок есть порядок.

— Ваше Величество

— Ещё слово — и получишь двадцать, — советник поднимает палец.

Я замолкаю.

Милли уводят. Она оборачивается на пороге и смотрит на меня.

Её секут во дворе. Публично. Чтобы остальные служанки видели и боялись.

Я стою в тени колонны, смотрю.

Десять ударов. Плети свистят. Милли кричит. У неё нет опыта. Она не знает, как терпеть. Как сжимать зубы, чтобы не кричать. Как думать о хорошем, когда плохо.

Десять ударов. Она уже не кричит. Только всхлипывает. Спина — в клочья. Платье прилипло к ранам.

Палач отходит. Её стаскивают со столба, волокут к воротам.

Я подхожу.

— Милли, — шепчу я.

Она поднимает голову. Глаза — мокрые, красные. На меня смотрит — как на пустое место.

— Уйди, шут. Ты Ты такой же, как Турс.

Она плюёт мне под ноги. Плевков — с кровью. Её губы разбиты, из уголка рта течёт тонкая струйка.

Я молчу.

— Ты хуже Турса, — её голос срывается на крик, хриплый, не свой. — Тот хотя бы не притворяется. Он просто зверь. А ты ты улыбался мне. Пирожки мои жрал. А сам — она сглатывает, и я вижу, как её горло дёргается. — Ударил меня ножом в спину.

— Милли

— Не зови меня! — она отшатывается, будто от удара. — Ты мне имя моё испоганил!

Двое стражников берут её под локти. Она вырывается — слабо, сил нет.

— Пустите! Я сама! — кричит она. — Я отсюда сама уйду. Потому что здесь здесь можно подохнуть, а тебя, Аэлло, даже собаки не тронут. Ты для них — свой. Потому что ты — пёс. Без хвоста. В колпаке.

Она поворачивается ко мне. Глаза — зелёные, но в них уже не весна. Зимний лёд.

— Знаешь, — говорит она уже тише, страшнее, — когда меня секли, я думала: может, я умру? Хорошо бы. Хоть бы не пришлось больше видеть тебя. Эту твою рожу. Эту дурацкую шапку.

Я не отвожу взгляд.

— И что ты теперь скажешь? — она наклоняет голову, подражая мне. — Какую шутку состроишь? Посмешишь короля моей спиной? Моей кровью? Моим плевком?

— Милли, я не хотел

— Ах, не хотел! — она смеётся. — Не хотел, а сделал. Не хотел, а сдал. Не хотел, а стоял, смотрел, как меня порют, и молчал. Молчал, Аэлло! Потому что ты — трус. Ты — дохляк. Ты — ничтожество, которое прячется за колпаком. Ты — никто. Даже не шут. Так, клоун.

Стражник Михель дёргает её за плечо.

— Хватит, девка. Пошли.

— Пусти! — она вырывается в последний раз и кричит мне в лицо: — Надейся, Аэлло, что король тебя переживёт! Потому что если король умрёт — тебя первого повесят. На той же верёвке. И никто не будет стоять внизу и молиться за тебя. Никто! Потому что ты всех разогнал! Труппу — на эшафот! Меня — под плети! Себя — в псарню! С кем ты остался, Аэлло? С собаками? Так они и сожрут тебя, когда ты перестанешь их кормить.

Она задыхается. Плевков с кровью попадает мне на щёку. Я не вытираю.

— Проклятый шут, — шепчет она. — Проклятый.

Стражники уволакивают её.

Она не оборачивается.

Она ушла, и правильно. Нечего тебе ловить в её глазах. Ни прощения. Ни надежды. Ни любви. Ты убил всё это. Одним словом. Молодец, Аэлло.

Что, больно? Плачешь? Твоё право. Но слёзы не вернут Милли. И рубцы на её спине не исчезнут. Ты предатель.

Я стою у ворот, пока пыль не оседает. Милли уже не видно — только следы её кровавых босых ног на камнях.

Потом я иду в псарню.

Ноги несут сами. Не помню, как прошёл коридоры, как свернул за угол, как открыл дверь. Помню только запах — родной, привычный, собачий. Помню, как Друг поднимает голову, когда я вхожу, и виляет хвостом. Один раз.

Я падаю на солому. Не ложусь — падаю. Лицом вниз. Не

плачу. Не могу. Глаза сухие. Но внутри — всё мокрое.

Ты предатель. Ты сдал её. Ты смотрел, как её секут. Ты стоял и молчал. Ты — трус. Ты — мразь. Ты — хуже Турса. Она права. Она абсолютно права.

— Заткнись, — шепчу я в солому. — Заткнись!

Я кричу. Громко. Друг вскакивает, скулит. Хром поднимает голову со скамьи — он пил из фляги.

— Чего орёшь?

— Ничего, — я сажусь на солому.

Хром молчит. Долго. Потом спускается со скамьи, подходит. Садится на корточки напротив.

— Слышал, — говорит он. — Во дворе крики были. Плети свистели. Девку пороли. Твою девку.

— Не мою, — говорю я.

— Твою, — он кивает. — Которая у псарни торчала. С пирожками. Я её гонял, а она всё равно приходила.

Я молчу.

— Ты её сдал.

Я молчу.

— Ты поступил как пёс. Но не как вожак. Слабаки предают, сильные — умирают или кусают первыми.

— Я не слабак, — цежу я сквозь зубы.

— Слабак, — Хром смотрит прямо. — Не потому, что предал. Потому что предал, а потом жалеешь. Если уж предал — будь доволен. Радуйся. Пляши. Ты жив, а она — за воротами. Ты — шут, она — никто. Выиграл? Выиграл. Так

чего ноешь?

Я поднимаю на него глаза.

— Ты бы смог? Предать?

Хром молчит. Потом сплёвывает на пол.

— Я своих не предаю. Своих собак — нет. Даже если они меня не слушаются. Даже если они любят не меня, а какого-то — он кивает на Друга, который сидит у моих ног, — какого-то шута.

Он поднимается и отходит. Ложится на скамью. Спиной ко мне.

— Спи, — бросает он.

Он замолкает, не спит, но говорить больше не хочет.

Я ложусь.

Друг кладёт голову мне на грудь. Тяжёлую, тёплую. Я глажу его за ухом.

— Ты бы меня предал? — шепчу я.

Пёс не отвечает.

Глава 7. Принц и пыль

Прошло несколько дней.

Или неделя. Я сбился со счёта. Дни здесь похожи друг на друга.

Мне снится Милли. Не каждую ночь, а через одну. Вот она стоит у псарни с пирожком и улыбается. Я подхожу ближе — а у неё лицо в крови. В другой раз она кричит на эшафоте, а я стою в толпе и смеюсь. То плюёт мне в лицо — я просыпаюсь, щека мокрая. Друг спит рядом — может, это он слюни распустил.

Ты предал единственного человека, который тебя любил. Не за деньги, не за шутки. Просто так. За красивые глаза. За то, что ты «симпатичный». Идиотка. И ты — идиот. Вы стоили друг друга. Только она теперь за воротами, а ты — здесь, в дерьме.

Я не зацикливаюсь. Потому что если начну думать — сойду с ума. Я загружаю себя делами. Помогаю Криспину — чищу его колпаки, подметаю каморы, таскаю воду.

Во дворце кипит подготовка.

Я никогда не видел такого. С утра до ночи слуги носятся с вёдрами, тряпками, лестницами. Моют стены — каменные, замшелые — до блеска. Вешают новые гобелены — на этот раз не охотничьи сцены, а цветы. Розы, лилии, какие-то райские птицы с длинными хвостами. Богато. Скучно.

Кухня работает на износ. Турс орёт на поварят так, что слышно в псарне. Из печей валит дым, из окон — запах жареного мяса, сдобы, корицы. Я прохожу мимо — не заглядываю. Турс на меня не смотрит. Ему некогда.

Советник Гарт носится с пергаменатами, как муха с крылом. Кричит на секретарей, пересчитывает серебро, перекладывает салфетки. Я видел его ночью — он стоял у окна в Малом тронном и бормотал. Я не расслышал слов. Но голос был — не его. Тоненький, детский. «Тридцать ложек, тридцать вилок» Считал. Советник считает ложки. Боги.

— Кого ждём? — спрашиваю я у Криспина.

— Послов, — он пожимает плечами. — И принца. Генриха. Того самого, блондина с голубыми глазами.

— И зачем столько? — я киваю на гобелены. — Принц — не девица. Ему цветы не нужны.

— Цветы не ему, — Криспин усмехается. — Цветы — чтобы показать, что у нас всё хорошо. Что принцесса жива, здорова и её комната — не башня.

Он замолкает.

Принцесса жива. Она там, наверху. Смотрит на луну. Ей скоро восемнадцать. День рождения — через три дня.

Банкет будет в Большом тронном — тот самый, где мыши погрызли потолок. Починили. Штукатурка свежая, пахнет известью. Трон Зервана отполировали — теперь он блестит, как задница новорождённого поросёнка.

Всё для послов.

Для принца.

Для того, чтобы показать: «У нас всё хорошо. Принцесса — не проклята. Она просто застенчивая. Она не выходит из башни, потому что любит тишину. Она не говорит с людьми, потому что»

Потому что боится.

А ты, Аэлло, что думаешь? Пойдёт она замуж? Сможет? Сможет ли принцесса, которая видит сквозь людей, которая говорит с тенями, — жить в чужом замке, с чужим мужем, среди чужих стен? Или она сойдёт с ума окончательно? Или её сожгут?

Я отгоняю мысли. Не моё дело.

Криспин даёт мне новые наставления.

— Не шути про принцессу. Не шути про ведьм. Не шути про королеву. Вообще не шути про башню. Не шути про

— Про что мне тогда шутить? — перебиваю я.

— Про барона Эрхарда. Про его жену. Про его лысину. Про то, как он храпит на совете. Про Турса — но осторожно. Про Гарта — но не про семью. Про стражников — они пьяные, не обидятся. Тысяча тем. Но не про башню. Запомнил?

— Запомнил, — говорю я.

— Повтори.

— Не шутить про принцессу, ведьм, королеву, казни, костры и

— Хватит, — Криспин поднимается.

— Умный был Фесс. Тоже всё запоминал.

— И что?

— А то, — старик идёт к двери, — что умных съедают первыми.

Он уходит, оставляя меня одного с Другом. Пёс смотрит на меня жёлтыми глазами. Я чешу его за ухом.

За день до праздника я вижу принца.

Он въезжает в замок через главные ворота — на белом коне, в синем плаще, с золотыми шпорами. За ним — свита. Десять рыцарей, два пажа, три служанки, один карлик. Говорят, у принца их пятеро, но взял только одного. Для дороги.

Я стою у ворот — меня поставили встречать. Криспин сказал: «Стой, улыбайся, кланяйся. Если принц скажет что-то смешное — смейся. Если нет — всё равно смейся».

Принц Генрих спрыгивает с коня — ловко, по-военному. Он выше меня на голову. Плечи широкие, талия узкая. Лицо — красивое, правильное, с голубыми глазами и ямочкой на подбородке.

— Здравствуйте, — говорит он мне. — А вы, простите, кто?

— Аэлло, Ваше Высочество, — я кланяюсь низко, почти до земли. — Придворный шут. Слуга вашего...

— Шут? — он смеётся. — А где бубенцы?

— Здесь, Ваше Высочество, — я касаюсь колпака. — Только не звенят. Вы их простите — стесняются.

— Стесняются? — принц поднимает бровь. — Бубенцы?

— Они не привыкли к такой красоте, — я улыбаюсь самой

дурацкой улыбкой. — Во дворце у нас все серые. А вы — как солнце. Могут ослепнуть.

Принц смеётся. Громко, раскатисто. Хлопает меня по плечу — больно.

— Хороший шут, — говорит он и идёт к дверям, где его ждёт советник Гарт.

Я остаюсь.

Хороший шут. Ты ему понравился. А он тебе? Нет. Он тебе не нравится. Потому что он — красивый. Потому что он — принц. Потому что он приехал свататься. И потому что ты — ревнуешь. Да, Аэлло? Ревнуешь?

Я не отвечаю.

Потому что ответ мне не нравится.

Банкет завтра.

Вечером я стою во дворе, поднимаю голову к башне.

Белое пятно на фоне синего неба. Луана. Стоит у окна и смотрит на звёзды.

Я смотрю на неё.

— Тебе восемнадцать, — шепчу я. — Тебя хотят выдать замуж за красивого принца. Он будет смеяться над тобой.

Луана не поворачивается.

— Ты меня не слышишь, — говорю я. — И это хорошо. Потому что если бы услышала — прокляла бы. Я предатель. Я сдал девушку, которая меня любила. Я смотрел, как её секут, и молчал.

Друг рядом — скулит. Я глажу его по голове.

— Ты меня прощаешь, — шепчу я. — Ты — пёс. Вы прощаете. А люди — нет.

Я смотрю на башню ещё минуту. Потом отвожу взгляд.

Иду в псарню. Завтра банкет. Завтра принц впервые увидит принцессу. Даже Милли теперь далеко. И никогда не вернётся.

Я засыпаю под дыхание Друга, а просыпаюсь от того, что Хром пинает меня ногой.

— Вставай, — рычит он. — Банкет через час. Криспин тебя ждёт в камерке. Приодеться надо.

Я встаю. Друг провожает меня взглядом. Я чешу его за ухом.

— Сегодня не корми, — говорит Хром. — Псы будут голодные. На всякий случай.

— На какой случай? — спрашиваю я.

— На тот, — он отворачивается, — если кому-то понадобится скормить тело.

Криспин встрепает меня, как наседка цыплёнка. Поправляет колпак, вытирает моё лицо мокрой тряпкой, заставляет переобуться в башмаки — те, что жмут, но выглядят чище.

— Смотри на короля. Если король смеётся — подхватывай. Если нет — молчи. Понял?

— Понял.

— И ещё. Принцессу не разглядывай. Опустит глаза. Ты — шут. Тебе нельзя смотреть на неё как на женщину.

— А как мне на неё смотреть?

— Как на гобелен, — Кристин стучит палкой.

Зал — ещё наряднее, чем в прошлый раз. Свечи — сотни, тысячи. Мерцают, как звёзды, только жёлтые. Гобелены с цветами — розы, лилии, какие-то птицы, похожие на павлинов, только белые. Столы ломятся от еды — я никогда не видел столько мяса, рыбы, пирогов, фруктов.

Придворные — в своих лучших платьях и камзолах. Дамы — с высокими причёсками и драгоценностями. Кавалеры — при шпагах, с напыженными усами.

Принц Генрих сидит справа от короля. В синем, расшитом золотом. Улыбается. Рядом с ним — его свита, карлик сидит на специальной подушке у ног.

Послы — те самые: старый с лисьим лицом, рыжий пьяница и женщина в зелёном. Она сегодня в фиолетовом. Глаза — как у кошки. Смотрит на всех, будто выбирает, кого съесть первой.

Король Зерван на троне. Сегодня он — гостеприимный хозяин. Улыбается, кивает, поднимает кубок. Но глаза — трезвые, холодные.

— Ваше Величество, — говорит старый посол, поднимаясь. — Мы привезли дары. Шерсть, железо, вино. И ещё подарок для принцессы.

— Какой? — король поднимает бровь.

— Увидите, — посол улыбается.

Король кивает советнику Гарту.

— Зовите.

Гарт хлопает в ладоши.

Двери в дальнем конце зала открываются.

Я не дышу.

Сначала — тишина. Потом — шаги. Лёгкие, почти не слышные.

Она входит.

— Луана Ноктэрис Астерион, единственная дочь короля Зервана Тиамат Астериона, — произносит голос из пустоты.

Белое платье — не то, в котором она стояла у окна. Новое. Шёлк, кружево, жемчуг на вороте. Длинное, до пола, струится, как вода. Волосы — чёрные, длинные, распущены. Они падают на плечи, на спину, почти до пояса.

Луана.

Я вижу её лицо.

Бледное — как молоко, как та луна, на которую она смотрела по ночам. Губы — чуть приоткрыты. Глаза — огромные, голубо-серые, как небо перед грозой. В них — пустота. Она смотрит сквозь всех.

Она худая. Слишком. Платье висит на ней, как на вешалке. Ключицы торчат, руки — тонкие, почти прозрачные. Под глазами — тени. Тёмные круги, как у человека, который не спал годы.

Она идёт медленно. Не смотрит по сторонам. Голова прямая, плечи расправлены. Как солдат. Как приговорённый.

Боги, — думаю я. — Какая же она красивая.

Не так, как Милли — веснушки, улыбка, румянец. Не так,

как те дамы — пудра, румяна, жемчуг. Другая красота. Болезненная. Как первый снег, который ещё не успели затоптать.

Опусти глаза. Криспин сказал — не смотреть.

Глава 8. День рождения

Я не могу отвести взгляд.

Луана подходит к трону. Останавливается. Смотрит на короля. Сквозь короля.

— Дочь, — король улыбается натянуто. — Поздравляю тебя с восемнадцатилетием.

Луана молчит.

Придворные шепчутся. Я слышу:

— Смотрит сквозь людей...

— Колдовское отродье...

— Говорят, она разговаривает с призраками...

— Тише, услышит...

Луана не поворачивается. Стоит, как статуя.

Король кашляет.

— Дочь, — повторяет он громче. — Поздравь гостей. Скажи им что-нибудь.

Луана поднимает глаза. Смотрит на принца Генриха.

Принц улыбается — белые зубы, ямочка на подбородке.

— Принцесса, — говорит он, вставая. — Я наслышан о вашей красоте. Но слухи они лгут. Вы прекраснее, чем я мог представить.

Луана смотрит на него.

Молчит.

Потом — тихо, так, что я едва слышу:

— А вы... Вы верите в призраков, Ваше Высочество?

Принц замирает.

— В призраков?

Я слышу, как кто-то икает. Как звякает вилка о тарелку.

Король краснеет.

— Луана, — цедит он. — Прекрати.

— Я просто спросила, — она переводит взгляд на короля.

— Разве вопросы запрещены?

— Замолчи! — король стучит кубком.

Луана садится рядом с королём — на то место, которое для неё приготовили. Она садится прямо, руки на коленях, пальцы переплетены. Не ест, не пьёт. Смотрит перед собой — туда, где висят гобелены с райскими птицами.

Король отворачивается к послам. Ему сейчас не до дочери. Ему сейчас важно, чтобы вино лилось, а гости улыбались.

— Шут! — кричит он, не глядя. — Развлекай гостей!

Я выхожу на середину зала.

Пространство между столами — как сцена. Паркет натёрт до скользкости, свечи отражаются в нём, как в луже. Я смотрю на Луану — она не смотрит на меня.

Представление. Для неё.

Первый номер — жонглирование.

Мне приносят факелы — три штуки, с настоящим огнём.

Криспин научил. «Никогда не бери горящие, — говорил он. — Но если взял — не думай, что обожжёшься».

Я беру факелы. Тяжёлые.

— Ваше Величество! — кричу я. — Дамы и господа! Сейчас вы увидите редкое зрелище! Шут, который играет с огнём!

Смех. Кто-то хлопает.

Я подбрасываю первый факел. Он летит вверх, переворачивается — пламя свистит. Второй. Третий.

Круги, восьмёрки, перехваты. Пальцы помнят — в труппе я жонглировал яблоками, ножами, однажды — тухлыми яйцами. Факелы — дороже. Ярче и опаснее.

Огонь стрижёт воздух. Искры падают на паркет, гаснут. Придворные ахают. Дамы прикрывают рты веерами.

— А теперь, — кричу я, — самое сложное! Я поймаю все три факела зубами!

— Не надо! — кричит кто-то из женщин.

Я бросаю факелы выше.

Они летят — три огненные точки. Я запрокидываю голову, открываю рот. Хватаю первый — древком. Второй — тоже древком. Третий третий бью ладонью вверх, он подлетает, я ловлю его под мышкой. Кланяюсь.

— Не срослось с зубами! — кричу я.

Смех. Аплодисменты.

Я смотрю на Луану.

Она не смеётся. Не аплодирует. Смотрит в пустоту сквозь меня.

Она не видит, — думаю я. — Или не хочет.

Не хочет. Ты для неё — как тот гобелен. Ты не человек.

Ты — шут. Мебель.

Второй номер. Падение.

Я хожу между столами, изображая придворных. Кланяюсь, как барон Эрхард — живот вперёд, задница назад. Потом крадусь, как советник Гарт — руки за спиной, нос вперёд.

Смех. Кто-то бросает мне монету. Я подбираю, целую, кладу за пазуху.

Я падаю. Специально — спотыкаюсь о свою же ногу, лечу вперёд, шлёпаюсь на пол.

— Господин барон! — кричу я с пола. — Я упал! Как вы! Только вы — с лестницы, а я — на ровном месте! Дайте мне звание «Главный дурак королевства»!

Барон смеётся — нехотя, сквозь зубы. Но смеётся. Король смеётся — громче всех.

Я поднимаюсь. Кланяюсь. Смотрю на Луану.

Она смотрит на дверь. Туда, откуда пришла.

Она хочет уйти. Она здесь чужая.

Принц Генрих поднимается. Подходит к принцессе.

— Ваше Высочество, — говорит он, склоняя голову. — Можно сесть рядом?

Луана поднимает на него глаза.

— Это не моё место, — говорит она тихо. — Спрашивайте у короля.

— Я спросил, — принц улыбается. — Король разрешил.

— Тогда садитесь, — она отворачивается.

Принц садится и поворачивается к ней. Близко. Слишком близко.

— Вы сегодня прекрасны, — говорит он. — Ваше платье как снег. Ваши волосы как ночь.

Луана молчит.

— Я читал стихи, — продолжает принц. — О любви. О красоте. О...

— Ваше Высочество, — перебивает она. Голос — кроткий, — Вы умеете говорить о погоде?

— О погоде?

— Да. О дожде и ветре. О том, что завтра может быть солнце.

Принц моргает.

— Я я не понимаю, Ваше Высочество.

— Это неважно, — она улыбается печальной улыбкой. — Говорите о чём хотите. Я буду слушать.

— Вы будете слушать? — он оживает.

— Я умею, — она складывает руки на коленях. — Я много слушаю. Дождь, огонь, ветер. Они говорят интереснее, чем люди. Но вы вы говорите. Я постараюсь не отвлекаться.

Принц краснеет. Не знает — обижаться или смеяться.

— Вы вы шутите?

— Нет, — Луана качает головой. — Шутит вон тот, в колпаке, — она кивает на меня. — А я не умею. Я только смотрю и слушаю.

Принц замолкает. Смотрит на неё — растерянно, как на-

шкодивший пёс.

— Ваше Высочество, — говорит он наконец. — Я хочу сделать вам предложение.

— Какое? — она поднимает бровь.

— Руки и сердца.

Луана долго смотрит на него. Потом переводит взгляд на короля — тот пьёт, не обращает внимания.

— Вы уверены? — спрашивает она. — Вы знаете, кто я? Что я?

— Вы — принцесса, — говорит принц. — Красивая. благородная. Ваш отец — король. Мой отец — король. Это хороший союз.

— Союз, — Луана кивает. — Шерсть, железо и двадцать бочек вина. Я слышала.

— Я не про...

— А я про это, — она смотрит ему в глаза. Голубо-серые — в голубые. — Вы приехали не за мной. Вы приехали за землями. За портами и армией. Я — приданое.

Принц бледнеет.

— Ваше Высочество...

— Не обижайтесь, — она наклоняет голову. — Я не хочу вас обидеть. Я просто говорю правду. Вы же хотите правды? Или вы хотите, чтобы я врала?

— Я... я не знаю, — он отводит взгляд.

— Вот, — Луана кивает. — Вы не знаете, а я знаю. Я знаю, что вы не любите меня. И не полюбите.

Я смотрю на неё.

Боги, — думаю я. — Какая же она красивая.

Король пьян. Придворные пьяны. Послы пьяны. Принц пьян — но не вином, обидой.

Я стою у колонны, смотрю на Луану. Она не смотрит на меня.

— Эй, шут, — голос за спиной.

Я оборачиваюсь. Женщина в фиолетовом. Та, с кошачьи-ми глазами.

— Вы, — говорю я.

— Я, — она улыбается. — Меня зовут леди Сильва. Я — советница короля Артура.

— А я — шут, — кланяюсь я.

Сильва кивает на Луану.

— Она тебе нравится?

— Ваше сиятельство, — я делаю лицо дурачка. — Мне нравятся пирожные. А принцесса — это не пирожное.

— Хороший ответ, — она щурится. — Но я видела, как ты смотрел на неё. Как на пирожное.

Я молчу.

— Не бойся, — она кладёт руку мне на плечо. — Я не до-несу. Мне просто интересно. Ты думаешь, она выйдет замуж за нашего принца?

— Я думаю, — говорю я, — что принцесса сама решит.

— Сама? — леди Сильва смеётся. — Принцессы не реша-ют сами. Решают отцы и политика.

— Тогда зачем вы спрашиваете?

Она смотрит на меня. Долго.

— Потому что я любопытная, — говорит она и уходит бесшумно.

Луана сидит в окружении пьяных, сытых, равнодушных.

Ты не выйдешь за него, — шепчу я. — Не выйдешь. Потому что ты — не для него. Ты — для...

Я не договариваю. Шут и принцесса. Это смешно. Сказка, которая никогда не кончается хорошо.

Вечером, когда гости разъезжаются, я прячусь за колонной.

Не специально — просто ноги сами принесли. Или любопытство. Или то, что я не могу оторвать взгляд от Луаны.

Её уводят двое стражников — те, что помоложе, покрепче. Идут по бокам, не касаясь. Боятся.

Она идёт так же, как пришла — прямо, медленно, не глядя по сторонам. Белое платье светится в темноте коридора. Волосы — как чёрный водопад на белой спине.

Я выглядываю из-за колонны. Слышно плохо — зал гудит, придворные договаривают тосты, кто-то орёт песню.

Принцесса останавливается перед дверью. Поворачивается к стражнику — тому, что справа.

— Сегодня полнолуние, — говорит она. Голос — тихий, спокойный. — Заприте дверь покрепче.

Стражник бледнеет и отступает на шаг.

— Ваше Высочество

— Не открывайте до утра. Никому.

Луана входит. Дверь закрывается.

Я слышу, как лязгает щеколда. Как скрипит ключ в замке.

— Чего она сказала? — спрашивает второй.

— Полнолуние, — первый плюёт на пол. — И чтобы не открывали дверь.

Я отхожу от колонны. Иду в псарню.

«Полнолуние, — думаю я. — Заприте дверь покрепче».

Она боится. Или не она. Или то, что внутри неё.

Не думай об этом. Иди спать.

Я не сплю.

Лежу на соломе, смотрю в потолок. Друг рядом вздыхает, иногда поскуливает во сне. Хром храпит на скамье. Чёрный пёс скребёт лапой пол — ему тоже не спится.

Луна за окном — огромная. Такая же, как в моём сне.

Полнолуние.

Я закрываю глаза.

Крик.

Я просыпаюсь не от лая — от крика. Женского. Высокого. И — обрывающегося.

Друг вскакивает, лает — один раз, коротко. Чёрный рычит. Серый даже не шевелится.

Хром просыпается и смотрит на дверь.

— Слышал? — спрашиваю я.

— Слышал, — он встаёт, накидывает плащ. — Сиди здесь.

— Я с тобой.

— Сиди, — он поднимает плеть. — Это не твоё дело.

Он уходит. Дверь захлопывается.

Я остаюсь. Собаки — со мной.

Минуты. Десять. Двадцать. Я считаю удары сердца. Друг положил голову мне на колени — не спит, прислушивается.

Шаги. Много шагов. Бегут. Кричат. Где-то далеко — в замке, во дворе, в коридорах. Голоса — испуганные.

— Кто? Кто?

— Молчи, сейчас Гарт придёт

— Короля не будить!

— А принцесса?

— Принцесса в башне. Заперта.

— Боги...

Дверь открывается. Хром. Бледный.

— Вставай, — говорит он. — Иди смотри, раз ты не спишь.

— Что случилось? — я уже на ногах.

— Служанку убили, — он отворачивается. — В прачечной. Лицом в лохани.

— Убили? Кто?

— Никого не было, — Хром сплёвывает на пол. — Иди, смотри. Может, заметишь что-то. Ты — глазастый.

Прачечная — в подвале. Сыро, холодно, пахнет мылом и чем-то кислым. Факелы на стенах горят тускло, тени прыгают.

Она лежит лицом вниз. Лицом в лохани. Вода — красная. Не от крови — от чего-то другого. Пена, мыло, грязь.

Тело — синее. От холода? От удушья? Я не знаю.

На шее — следы пальцев. Пять сверху, один снизу — большой палец. Кто-то держал. Кто-то давил. Кто-то держал её голову в воде, пока она не перестала дышать.

— Кто она? — спрашиваю я.

— Не знаю, — Хром пожимает плечами. — Служанка, лет пятнадцать.

Я смотрю на тело.

Пятнадцать. Столько же, сколько Милли. Такая же худая. Такие же руки — тонкие, с обкусанными ногтями. Волосы — русые, свалывшиеся, прилипли к щекам.

Ты видел смерти. Эшафот, верёвки, три тела, раскачивающиеся на ветру. Эта ничем не хуже и не лучше. Её убили. Тихо. Ночью. В подвале.

— Говорят, никого не было рядом, — говорит кто-то из стражников — Михель, кажется. — Соседки спали в той же комнате. Никто не входил. Никто не выходил.

— Как же её убили? — спрашивает другой.

— Призраки, — шепчет кто-то. Я узнаю голос — поварёнок Тимми. Он стоит в углу, белый, как стена. — Это призраки. Они выходят в полнолуние. Из башни. Из...

— Молчать! — рявкает советник Гарт.

Он вошёл тихо — я не заметил. Стоит в дверях, серый, злой.

— Никаких призраков. Никаких башен. Убийцу найдут.
А кто будет молоть чушь — получит плети. Или ещё хуже.

Он смотрит на меня. Пристально.

— Ты, шут. Что ты здесь делаешь?

— Я — я делаю лицо дурачка. — Я пришёл стирать колпак. Он у меня грязный. А тут...

— Вон, — цедит Гарт.

Я выхожу.

Но перед выходом бросаю взгляд на тело.

Синее. Мокрое. Молодое. На шее — следы пальцев. Как будто кто-то держал.

Полнолуние. Заприте дверь покрепче.

У Луаны тонкие руки. Белые. Длинные пальцы. Могла ли она? Нет. Она взаперти. Ключ у стражника. Даже если бы она захотела — не вышла бы.

Но призраки?

Её мать — ведьма.

Сожжённая королева, которая вернулась в дочь.

Не думай. Не думай...

Глава 9. Полнолуние

Король Зерван в ярости.

Я никогда не видел его таким. Сейчас он — зверь. Красное лицо, выпученные глаза, кулаки сжаты. Он кричит на советника Гарта, на стражников, на послов — на всех, кто оказался рядом.

— Найти! — орёт он. — Обыскать замок! Каждую щель! Каждый подвал! Каждый чердак! Убийца здесь! Он не мог уйти!

Придворные разбегаются. Кто-то крестится, кто-то шепчет молитвы. Женщины плачут — не по убитой. Боятся ведь следующей жертвой могут стать они.

Я стою у стены, прижавшись спиной к холодному камню. Друг рядом — я взял его с собой. Хром не разрешал, но я ослушался. Пёс скулит.

Ты боишься? Правильно. Бойся. Убийца среди нас. Или не среди нас. Или над нами.

Я смотрю на винтовую лестницу, которая ведёт к Луане.

Обыск идёт весь день. Стражники ломаются в каждую дверь, переворачивают сундуки, заглядывают под кровати. Нашли старого поварёнка, который прятал краденое мясо — его выпороли и выгнали. Но убийцу не нашли.

Я жду вечера.

Когда стражники устают, когда факелы горят вполнакала,

когда коридоры пустеют, — я иду один.

Друг остался в псарне — Хром запер дверь, сказал: «Собака не выпущу. Не хватало ещё, чтобы их убили или они убили».

Я крадусь по знакомым проходам. Прачечная — в подвале. Туда ведёт узкая лестница, ступени скользкие от мыльной воды. Факелы погасли — кто-то не зажжёт новые. Я иду на ощупь, держась за стену.

Пахнет сыростью, мылом и чем-то ещё. Сладковатым. Как тогда, на эшафоте.

Запах смерти.

Дверь в прачечную — приоткрыта. Никто не охраняет. Зачем? Убийца ушёл. Тело унесли. Здесь только пустые лохани, мокрый пол и тишина.

Я вхожу.

Факел на стене — единственный, догорающий. Тени пляшут, как безумные.

Следов крови нет. Тела нет. Только лужа на полу — вода, смешанная с мылом, — и брошенная тряпка.

Но я смотрю на пол. Внимательно. Опускаюсь на корточки.

Они есть.

Едва видные. Почти стёртые. Но есть.

Следы. Босых ног.

Маленькие. Узкие. Женские.

Они ведут от лохани — туда, где лежало тело, — к стене.

К шкафу.

«Не может быть, — думаю я. — Она была мертва. Её убили. Как она могла оставить следы? Или»

Или убийца оставил их. Убийца, который ходил босиком. Я подхожу к шкафу. Старый, деревянный, с облупившейся краской. Дверца приоткрыта. Я тяну на себя.

Скрип.

Внутри — пусто. Только полка. На полке — ничего. Пыль, паутина, какой-то старый башмак.

Но я смотрю на дверцу. С внутренней стороны.

Вижу каракули, начертанные углём и рисунок.

Человечек в длинном платье. С распущенными волосами.

Над головой — корона. И подпись: «принцесса».

Я вглядываюсь. Уголь местами стёрся.

Кто рисовал? Кто прятался в этом шкафу? Кто оставил следы?

Я опускаю взгляд на полку.

Там — бубенец.

Медный. Маленький. С язычком внутри. Я беру его в руку — холодный, тяжёлый. Встряхиваю. Он издаёт звук — тонкий, жалобный, как писк мыши.

Бубенец. От колпака.

Я сжимаю его в кулаке.

Мой колпак — от Фесса. Бубенцы залиты воском, не звенят.

Этот — звенит.

Чей он? Чей это бубенец?

Я прячу его в карман и выскальзываю из прачечной, как тень. Никто не видел.

Псарня. Ночь. Хром спит — или делает вид. Друг тычется носом мне в ладонь. Я глажу его, но не чувствую.

Я сажусь на солому, достаю бубенец и верчу его в пальцах.
Ты нашёл следы, шкаф, рисунок. И бубенец. Что это значит? Убийца — кто-то маленький? Женищина? Ребёнок? Служанка? Или

Или принцесса.

Луана.

Она была заперта. Стражники говорят — дверь не открывалась. Ключ у них. Но они могли врать. Или их могли заставить.

Полнолуние. Заприте дверь покрепче.

Она знала. Она предупреждала.

Ты нашёл улику. Принёс в псарню. И что? Что ты с ней сделаешь? Пойдёшь к королю? Скажешь: «Ваше Величество, я нашёл бубенец в шкафу, и ещё рисунок, и следы босых ног»? Король спросит: «А ты что делал в прачечной ночью, шут?»

Я смотрю на свои башмаки. Мокрые. Я ходил по луже. В прачечной была вода. Мои следы — тоже есть. Если стражники найдут их рядом с теми, женскими

Я — подозреваемый.

Нет. Не может быть.

— Я не убивал, — шепчу я. — Я не мог. Я спал.

Друг поднимает голову. Смотрит на меня.

— Ты видел? Я спал рядом с тобой. Ты бы почуял, если бы я вставал?

Пёс наклоняет голову. Не отвечает. Но я знаю: собаки чувствуют всё. Друг не лаял, не скулил, не метался. Значит, я не вставал.

Или ты вставал, а он спал? Хром тоже спал. Все спали. А ты ты мог ходить во сне.

Лунатизм.

Я слышал о таком. Один актёр в труппе — старик Филипп, нет, другой, его звали неважно — он вставал ночью, ходил, говорил, даже играл на сцене. А потом просыпался и ничего не помнил.

Мог ли я?

Вспоминаю. Ночью — сны. Кошмары. Лестница, Луана, мама, считалочка. Я просыпался в поту, с криком. Но чтобы встать, выйти, спуститься в подвал, утопить девушку в лохани

— Нет, — говорю я громче. — Не мог.

А что, если это была не ты? А что, если кто-то надел твой колпак? Или бубенец — не твой. У тебя воск в бубенцах. А этот — звонкий. Чей же он?

Я не знаю.

И это хуже всего.

На следующее утро замок гудит по-другому. Не радостно, не празднично. Гул — испуганный, придавленный.

Советник Гарт собрал стражников. Спрашивает каждого: кто где был, что видел, что слышал. Я стою в очереди — меня тоже вызовут.

Но вызовут не скоро.

Потому что в коридорах появляется король.

Зерван идёт быстрым шагом. За ним — двое стражников, Гарт и ещё кто-то из послов — леди Сильва. Король бледен. Глаза — бешеные.

— Где она? — рычит он.

— В башне, Ваше Величество, — отвечает стражник. —

Заперта. Как вы приказали.

— Отпирай.

— Но Ваше Величество

— Отпирай, я сказал!

Стражник дрожащими руками достаёт ключ.

Я крадусь следом. Лестница — винтовая, знакомая. Ступени — каменные, стёртые. Каракули — цветы, домики, «папа».

Король поднимается быстро. Я — за ним, держась в тени.

Дверь с львиной головой. Лев улыбается. Криво. Как и тогда.

Стражник вставляет ключ. Поворачивает. Щеколда лязгает.

Король входит.

Я прижимаюсь к стене. Слышу.

— Ты! — голос Зервана — сорванный, хриплый. — Ты

говорила стражнику! Про полнолуние! Про дверь!

Тишина.

— Отвечай, проклятое отродье!

— Говорила, — голос Луаны. Тихий. Спокойный.

— Знала? Знала, что убьют?

— Знала, что может случиться, — она не повышает тона.

— Ты ведьма! Как твоя мать! — король срывается на крик.

— Я — её дочь, — Луана молчит секунду. — Она не была ведьмой. Её сожгли за то, чего она не делала.

— Молчать! — топот. Король бьёт ногой. Или кулаком по стене. — Ты будешь сидеть здесь! Пока я не выдам тебя замуж! А если не найдётся такого — сгниёшь! Слышишь? Сгниёшь в этой башне!

— Я уже сгнила, — Луана смеётся. — Вы просто не заметили.

— Замолчи!

— Зачем вы пришли, Ваше Величество? — она спрашивает спокойно. — Убить меня? Так убейте. Легче будет.

— Не искушай! — король задыхается. — Не искушай, я

— Что — вы? — голос Луаны — ледяной. — Побойтесь? Или не сможете? Как тогда, с матерью? Вы стояли и смотрели, как её жгут. А теперь будете смотреть, как гнию я?

Звук. Пощёчина. Или удар.

Я слышу, как Луана падает.

— Не смей, — шипит король. — Не смей говорить о ней.

Она предала меня. Ты — её проклятие в моём доме.

— Я — ваша дочь, — Луана поднимается. Я слышу шорох платья. — Я — плоть от плоти. Кровь от крови. Если я проклята — то и вы прокляты.

— Молчать! — король кричит так, что голос срывается на петушиный фальцет.

— Заприте её! И не выпускайте! Пусть сгниёт здесь!

Ключ поворачивается. Щеколда лязгает.

Король уходит. Стражники — за ним. Тяжёлые шаги глохнут внизу, на винтовой лестнице.

Я остаюсь.

Прижимаюсь спиной к холодной стене, сползаю на ступени. Камень ледяной — даже сквозь штаны. Колено ноет. В груди — пустота.

А за дверью — она.

Я слышу.

Сначала — молчание. Потом — всхлип. Один. Короткий, словно она его проглотила. Потом — другой. Третий. Они становятся чаще, громче. Она плачет.

Не так, как плачут при всех — тихо, стыдливо. Она плачет так, как будто никто не слышит. Как будто она одна в целом мире.

Я сжимаю кулаки. Ногти впиваются в ладони.

Скажи что-нибудь. Пошути. Рассмеши её. Это же твоя работа — смешить.

Я открываю рот.

Ни звука.

Ну же, Аэлло. Ты — шут. Твой язык — как бритва. Одно слово — и она улыбнётся. Даже сквозь слёзы.

— Луана, — шепчу я. Едва слышно.

Плач стихает. На секунду.

— Кто это? — голос из-за двери. Сорванный, мокрый.

— Я — шут, — говорю я. — Аэлло.

Тишина.

— Шут, — повторяет она. Голос — тихий, удивлённый.

— Тот самый, который...

— Который жонглирует факелами и падает на ровном месте, — я улыбаюсь в темноту. — Да, Ваше Высочество. Тот самый.

— Не называй меня так, — она всхлипывает, но уже не плачет. — Я не Высочество. Я — узница. Игрушка. Приданое.

— Тогда просто Луана, — шепчу я.

Она молчит.

— Просто Луана, — повторяет она, пробуя на вкус. — Давно меня так никто не называл.

Мы сидим. По разные стороны дуба и железа. Я чувствую её дыхание — сквозь щели в двери. Тёплое, прерывистое.

— Почему ты пришёл? — спрашивает она.

— Потому что вы ты плакала, — говорю я. — А я не умею проходить мимо слёз.

— Шут, который не умеет проходить мимо слёз, — она

почти смеётся. — Это смешно.

— Это грустно, — поправляю я.

— Ты странный, — шепчет она.

— Я знаю.

Я сижу у двери, пока она не засыпает. Слышу, как дыхание становится ровным, глубоким. Она спит. Прислонилась к дубу с другой стороны. Я прислоняюсь к своей — лбом к холодному дереву.

— Спи, Луана, — шепчу я. — Завтра я приду снова.

Спускаюсь по лестнице. На стенах — каракули. Я провожу пальцем по детским буквам.

— Я здесь был, — шепчу. — И останусь.

Псарня. Ночь. Друг спит, положив голову мне на колени. Хром храпит. Я достаю уголёк и рисую на обрывке доски.

Сначала — линию плеч. Потом — изгиб шеи. Волосы — чёрные, падающие на спину. Лицо — бледное, с большими глазами.

Я рисую её такой, какой запомнил: у окна, в лунном свете. Белое платье светится. Волосы текут, как вода.

Глаза.

Я рисую глаза дольше всего. Голубо-серые, как небо перед грозой. В них — пустота. Но в этой пустоте — целый мир. Который никто не видит. Кроме меня.

Ты влюбился. Влюбился, Аэлло. В принцессу, которую не можешь коснуться. В девушку, которая не выйдет за тебя никогда. Зачем?

Я откладываю уголёк, смотрю на рисунок.

— Красивая, — говорю я вслух.

Друг поднимает голову, смотрит на меня, потом на доску.

Вздыхает и кладёт голову обратно.

— Ты согласен? — спрашиваю я пса.

Пёс молчит. Но я знаю: согласен.

Утро. Криспин трясёт меня за плечо.

— Вставай, соня. Ты что, не спал?

— Спал, — бормочу я, открывая глаза. Уголёк прилип к щеке.

— Спал? — он смотрит на стену. На рисунок. — Это что?

— Это... — я не успеваю соврать.

— Принцесса, — Криспин усмехается. — Красиво.

Очень. Только дурака не валяй. Ты влюбился, Аэлло. Я вижу.

— Я...

— Не ври, — старик садится рядом. — Другой шут тоже любил. Один раз. Её убили. Не спрашивай как. Это другая история и она не кончилась хорошо.

Он встаёт.

— Твоя тоже не кончится. Я не буду отговаривать, это бесполезно. Только будь осторожен. Любовь при дворе — это оружие. Им можно убить. Или убиться.

Он уходит.

Я смотрю на рисунок.

— Убьюсь, — шепчу я. — Но сначала узнаю правду.

Утром я выхожу из псарни, иду на кухню за похлёбкой —

и слышу. Стражники у ворот шепчутся. Михель — красно-
мордый, бледный. Гюнтер — тощий, трясётся.

— ...вторая...

— ...в винном погребе...

— ...лицо в осколках...